

## Борис МИНАЕВ

### КАЛАШНИКОВ

*и другие рассказы из цикла «Оды и некрологи»*

#### **Калашников**

У Саши Калашникова была такая манера – он как бы немного заговаривался. Ну то есть он, как это было ему свойственно всегда, начинал горячо говорить какую-то сложную мысль и тут же терял нужное слово, как бы спотыкался, катился кубарем, вставал, снова находил, опять спотыкался, и лишь в самом конце этого немислимого кульбита он вытлкаивал из себя нужную конструкцию, страстно выдыхал ее, и затем еще дополнял, развивал, и заканчивал уже весь этот немислимый пируэт, победно улыбаясь или восторженно радуясь сам.

Это не было по-актерски, специально, намеренно (хотя он был режиссером и актером по образованию, работал некоторое время в Ногинском театре, потом сам возглавил народный театр). Я вообще не помню, чтобы он говорил по-другому – тихо, спокойно, в одном ровном темпе.

Поэтому, когда он начинал говорить, все вокруг как-то замолкало. Все затихали, с уважением относясь к этим мукам «внутренней речи». К этому поиску нужного слова, тем более что голос у него был именно актерский – с огромным диапазоном, мощью, глубиной, с совершенно неожиданными раскатами смеха.

Он бы, конечно, легко мог стать каким-нибудь народным артистом РСФСР, у себя в Пензе или в Москве. Но он выбрал другое.

...Всю жизнь я занимался публицистикой, что-то обобщал, формулировал, сейчас это надоело. Но невозможно не написать про Калашникова, что он всегда воплощал для меня какой-то *другой* тип русского человека. Тип, которого я в жизни почти и не видел – настолько поглощенно-го своей идеей, готового ради этой мысли, мечты на любые подвиги, на любые безумства, так что все остальное по сравнению с этим выглядело мелким и неважным.

Если говорить совсем коротко, идея у Калашникова была простая – он хотел изменить мир. С помощью уличного театра.

В первый раз я его увидел во время дежурной командировки в пионерский лагерь «Орленок», в Туапсе, там нужно было писать о каких-то творческих детях, или о каких-то научных детях, в общем, зачем-то меня туда послали. Эта была осень 1987 года. В гостинице, проходя мимо номера с открытой дверью, я вдруг увидел чувака, который сидел на кровати и раскладывал вокруг себя фотографии. Десятки больших фотографий. Черно-белых. Потом я понял, что он их раскладывал для меня, но сначала мне показалось, что он просто смотрит их сам.

– Что это? – изумленно спросил я.

– Это... театр «Бум» из города Кузнецка Пензенской области! – важно сказал молодой борода-тый человек с необычайно живым лицом и смеющимися глазами.

---

*Борис Минаев родился (1959) и живет в Москве. Работал в «Комсомольской правде», «Огоньке», журнале «Медведь». Автор нескольких книг прозы, а также биографии Бориса Ельцина, соавтор биографии Егора Гайдара в серии «ЖЗЛ». Неоднократный финалист премии «Русский Букер» и «Ясная Поляна», лауреат премии журнала «Октябрь», лауреат премии «Заветная мечта» за лучшую книгу для детей и подростков, лауреат премии Егора Гайдара «За выдающийся вклад в области истории». Печатался в журналах «Вестник Европы», «Дружба народов», «Октябрь», «Знамя», «Урал» и др.*

– А... – сказал я и тоже плюхнулся на кровать рядом.

Я смотрел на эти фотографии и ничего не мог понять. Какие-то бесконечные кони в дугах, с колокольчиками и цветными лентами, подростки в скomorошких колпаках и трико, испуганные взрослые люди по бокам деревенской улицы, которые смотрят с ужасом на это буйство, закат на озере, плоты с парусами, кривляющиеся дети в сценических костюмах, бесконечные танцы, словом, непонятные мне толпы народа заполняли эти черно-белые снимки, и единственное, что можно было сказать, что всем этим людям хорошо. Ну или они делают вид, что хорошо – но хорошо делают вид, что хорошо.

– Ну вот такой у нас в городе театр... – важно сказал мой новый знакомый и протянул руку для знакомства. – Саша Калашников, главный режиссер театра «Бум».

– Новокузнецк? – переспросил я.

– Нет, Кузнецк Пензенской области, – поморщился режиссер. – Типичная ошибка. Новокузнецк город новый, советский. А Кузнецк – старинный, купеческий. К тому же в Новокузнецке экология ужасная, дышать невозможно. А у нас рядом Белое озеро. Красота, воздух.

– Ну да, понятно – сказал я, не зная, как продолжить разговор. – А чем вы тут занимаетесь, в «Орленке»?

Калашников занимался в «Орленке» не совсем обычным делом – он был «режиссером по детям» на съемках фильма «Музыкальная история» студии Горького. То есть он каждый день, исходя из сценарного плана, выходил на площадку, строил несчастных детей на жару, следил за тем, чтобы они были правильно одеты, и репетировал с ними сцены. Думаю, конечно, что эти дети с музыкальными инструментами (а фильм был именно о музыке) были немного напуганы, потому что в своем театре, как я понял позднее, Калашников с детьми разговаривал по всему эмоциональному диапазону, как со взрослыми – кричал, хохотал, заходил в истерику, говорил страшным шепотом и так далее. И это никого не пугало. Но к такой манере нужно было привыкнуть.

– Ну в общем, если вам это интересно... – подытожил разговор Калашников.

– Да-да, я понял, – сказал я и записал его телефон.

В Кузнецк я приехал уже довольно суровой зимой, стоял мороз градусов двадцать, Калашников вообще-то удивился, что я приехал в командировку, да еще не в сезон, когда никаких экспедиций нет. И по-моему, я его даже не предупредил.

Мы ходили по улицам и смотрели город.

– Ты понимаешь, тут у нас особый менталитет, – говорил он тихо. – С тех еще времен. Видишь, какие ворота, заборы?

Действительно, таких огромных сложных ворот я в других русских городах никогда раньше не видел. Это были ворота резные, на огромных столбах, с невероятными чугунными замками и засовами, с узорами и какими-нибудь грубо выструганными птицами на «навершье».

– Как это называется?

– Навершье, навершье, – повторил Калашников. – Пойдем, посмотрим. – Мы зашли во двор, махнув зильцам (Калашникова тут знал каждый), и осмотрели мир хозяйского подворья – огромный дом и высокую крышу, сени, хлев и подклеть, сарай и амбар, чего тут только не было.

Казалось, что все это сохранилось в таком виде еще с дореволюционных времен. Не было ничего разрушающегося, старого и покосившегося.

Люди, которых мы встречали, смотрели на нас с затаенным любопытством и сдержанно кивали.

– Понимаешь, какие тут куркули живут? – возбужденно прошептал Калашников. – Все себе, себе... Такая, брат, психология.

За мной всюду ходил секретарь горкома комсомола (так было положено), сопровождая меня в столовую, в гостиницу, на интервью, вечером советовал никуда не выходить – «у нас тут небезопасно вечерами», попросту сказал он. Я поверил.

Как-то мы раз зашли в кинотеатр, не помню зачем, посмотреть какую-то дежурную фото-выставку, кажется, или просто попить чая в буфете с булкой, и вдруг он завел меня в темный зрительный зал и показал:

– Видите, вон то кресло – в девятом ряду, тринадцатое место?

– Вижу, а что?

– Да тут у нас такая история, – загадочно сказал он. – Если садится человек в это кресло, его обязательно убивают. Это чистая правда, я не шучу. Уже много лет так.

– Ага, – сдержанно сказала я.

Наконец мы дошли до клуба обувной фабрики, где работал Калашников. Обувная фабрика здесь была потому, что с дореволюционных (опять же) времен в этих краях выдвигали кожи из шкур домашних животных.

За какой-то час Саша рассказал мне буквально все.

...Как целый месяц ходили на телегах со скоморошным представлением («мистерией»), по татарским и русским деревням, как устроили «Алые паруса» на Белом озере. Плоты, русалки, Грей и Ассоль на рассвете. Как теперь работают над третьей частью триптиха – театр на воздушном шаре.

Я записывал в блокнот.

В принципе, материала было уже достаточно.

Но меня поразили не его рассказы – а сам Калашников. Я не мог это сформулировать точно. Но чувство, что этот человек меня затягивает в какую-то глубину, воронку, было уже тогда.

Что еще запомнилось – это сочетание его безумных идей с воздухом Кузнецка, колючим и тяглым. С этими воротами до небес, «домами куркулей», грубо вырезанными деревянными птицами на «навершь», с этим холодным недоверчивым взглядом людей на улице, с этим тринадцатым местом в девятом ряду. Здесь внутри обычного советского казарменного неуютя, который я хорошо знал – было что-то еще другое. Свое. Свой местный провал в глубину.

Вечером того же дня мы пришли к нему домой, в скромную двушку в пятиэтажке, где его жена Таня напоила нас чаем.

На следующее утро я уехал в Москву.

Очерк о театре «Бум» долго валялся в гранках. Он, во-первых, был слишком большой (ну, подумаешь, детский театр, что за сенсация). Во-вторых, было не совсем понятно, на какую полосу его ставить – по школьному отделу надо бы в вторую, по отделу культуры – на четвертую. Секретариат не мог выбрать.

Ася была беременна Сашей. В январе, то есть не в сезон, мы взяли путевки в пансионат издательства «Правда» в Юрмале и поехали на две недели на Рижское взморье. Было прекрасно. Мы как-то упоительно ходили по заснеженному пляжу, заглядывали в пустые кафе, половина из которых не работала, смотрели на сосны, я писал, Ася все гуляла и гуляла.

Мягкий морской воздух делал жизнь более светлой и рождал надежды. Неизвестно на что. Шел 1988 год.

Однажды я просто купил в киоске газету – и увидел там свой очерк про Калашникова. Очерк стоял на четвертой полосе «Комсомольской правды», на почетном месте рядом со спортом и погодой, солидный такой трехколонник, наверняка у отдела культуры что-то в последний момент слетело, и срочно нужно было на что-то заменить.

...Мы приехали в Москву, и сразу раздался его звонок.

Он орал в трубку что-то восторженное.

Через некоторое время Саша приехал в Москву и сразу пригласил нас с Асей в театр на Таганке. Там была премьера – «Борис Годунов». Николай Губенко кидал через всю сцену огромный железный лом, метров на восемь. Лом красиво летел и втыкался, зловеще покачиваясь. Это я запомнил на всю жизнь.

Страна жила в ожидании переворота, бунта, диктатуры, беды, в общем, чего-то страшного – этот вонзающийся в сцену лом отлично иллюстрировал эту мысль о власти и ее непрочности. Но было, как говорится, прикольно.

Вообще у Калашникова, как выяснилось, там и тут работали ученики – и он мог нас «на что-нибудь сводить» в московских театрах. Но я стеснялся просить.

Прошло года два. Саша однажды появился у меня в «Огоньке», как-то вдруг, не предупредив. – Как ты это сделал? – потрясенно спросил Калашников, плотно закрыв дверь кабинета.

И положил на стол номер журнала «Огонек», где я тогда работал. На обложке был его театр: смеющиеся дети в скomorошьях колпаках, все те же лошади с бубенцами, в общем, красивая была обложка, разноцветная. А дело было вот в чем.

Мой друг фотограф Юрий Феклистов поехал с Сашиним театром летом в экспедицию – на этот раз это был «ковбойский спектакль», на лошадях. Он вдруг вспомнил мой очерк, позвонил Калашникову, и Саша увлек его этой идеей.

Правда, экспедиция началась 17 августа 1991 года, а 19-го Феклистов был уже в Москве. На баррикадах у Белого дома.

Но обложка все равно получилась. Я написал под обложку небольшой текст, на одну полоску.

– Да я уже и забыл, слушай... Но я рад. Очень рад, – пожал я плечами, улыбнувшись.

– Ты просто не понимаешь, – спокойно произнес Калашников. – Ты просто не понимаешь, что именно ты сделал.

– А что я сделал?

– Ну как бы тебе сказать... – тихо и торжественно сказал он. – С этой обложкой я могу горы свернуть, войти в любой кабинет. В любой, понимаешь? – сказал он и громко захохотал.

– Ну и как? – спросил я, внимательно глядя на него. – Уже зашел? Какой результат?

– Скоро узнаем... – просто сказал он. И попросился вечером в гости.

Так Саша впервые приехал к нам на Аргуновскую – он всегда приходил не с пустыми руками: игрушки для детей, огромные торты, букеты ромашек, бутылка вина... И начинал радостно шуметь.

При этом он заполнял все наше маленькое пространство своим густым голосом, сбивающим ритмом, бесконечными модуляциями, раскатистым хохотом...

Кроме его голоса, шуток и бесконечных рассказов, практически ничего в квартире уже не оставалось. Все предметы, как мне казалось, испуганно жались по углам. Приходили дети и во все глаза смотрели на Сашу.

Наконец нас с ним выгоняли на кухню, дети неохотно ложились спать, и тогда он переходил на оглушительный шепот.

– Ты не понимаешь... – шептал он тогда. – Ты не понимаешь, что ты сделал.

Да, действительно я не понимал. Масштабы произошедшего выяснились позднее.

Саша решил построить в своем городе не просто маленький камерный детский театр, а нечто другое.

...Впрочем, в Кузнецке у нас с ним такой случайный, как мне показалось, разговор вроде бы был. Мы проходили по центру города, как вдруг Калашников остановился и сказал: а вот тут у нас раньше был театр. Но он сгорел.

И действительно, купцы (поднявшиеся на выделке кож домашних животных) построили в городе еще до революции такой классический театр с колоннами по фасаду, потом советская власть его несколько приукрасила – герб Советского Союза, профиль Ильича, другая символика...

– Меня еще отец туда приводил, – рассказывал Саша. – И ты знаешь, местные жители очень любили наш театр! Для них надеть пиджак, брюки со стрелками, галстук, зайти в буфет и выпить пива – это уже было целое событие.

Однако главный Сашин проект, как выяснилось, не имел к классическому театру никакого отношения.

Ни старый купеческий театр, ни новый камерный в бывших «Спорттоварах» его уже не устраивали.

- Пойми, это время давно прошло. Я хочу другой театр.
- Ну какой «другой»? – спрашивал я, вдохновленный горением его души.
- Ну как бы тебе объяснить...

Назывался новый Сашин проект замысловато – «Театроград». Красиво – но ни тогда, ни тем более сейчас, моей фантазии не хватало, чтобы охватить умом этот грандиозный замысел.

Должен был находиться Театроград в заброшенном парке культуры и отдыха, на эскизе, который Саша мне показал, было нарисовано такое сложное многоступенчатое здание с башенками.

– И вот, понимаешь, – говорил Калашников, взволнованно понижая голос, – вот ты приходишь, и представь, ты *не знаешь*, в какой эпохе окажешься, в каком времени, в каких обстоятельствах, актеры импровизируют, и ты вместе с ними...

– Это как? – не понимал я.

– Ну вот так! Ты приходишь, а там РЫЦАРИ! Вот. И там, вот, смотри, происходит все, что с этим должно быть связано – тебя посвящают в рыцари, дают тебе, там, не знаю, меч, шлем, латы, ты участвуешь в турнире, перед тобой разыгрывается сцена из Вальтер Скотта, тебя на хрен убивают, ну я не знаю! – кричал Саша в изнеможении. – Ну неужели это непонятно? Ну включи фантазию!

– Понятно-понятно, – успокаивал его я. – Ну то есть на каждый день у тебя будет свой сценарий.

– Да нет! – заходился Калашников, бил себя ногой по ноге, прыгал на месте, стучал кулаками по столу.

– Нет! НЕ БУДЕТ СЦЕНАРИЯ! Сценарий родится спонтанно. Спонтанно, понимаешь?

– Не знаю, – неуверенно говорил я. – Откуда ты столько сюжетов наберешь?

– Ладно, сейчас не время, потом объясню, – говорил Калашников и, раздраженный моей тупостью, убежал в московскую ночь.

В его мечтах и фантазиях о Театрограде время двигалось непрерывно, и в то же время как бы скачками – из далекого будущего, то есть из космоса, в наши дни и опять в будущее, которое внезапно превращалось в прошлое, каждый день пришедшие зрители заново решали, где им жить, определяя свою жизнь вплоть до мелочей – одежды, пищи, цветов флага, и, разумеется, каждый из них был членом городского совета, имея голос в решении этих насущных задач. Потом я увидел что-то подобное в компьютерной игре. Но у Саши вместо нарисованных человечков должны были делать все это совершенно живые люди. И их дети.

На картинках проект выглядел скучновато – какие-то стены, башенки, тут и там возникали какие-то фальшь-фасады и простенки, но Сашу это не смущало, он был страшно доволен тем, что ему сделали настоящий архитектурный проект, подвели техническое обоснование, составили смету – и теперь, помимо остальных документов, которые он носил в новеньком кожаном дипломате, бережно обернутого в целлофан «Огонька», с той самой красивой обложкой, кроме проспектов и буклетов, он еще обязательно таскал с собой этот архитектурный проект, бережно его разворачивал и всем показывал.

Наступило 1 сентября 1992 года, и мой старший сын Митя пошел в школу. Это было трудное решение, потому что в обычную советскую школу мы его отдавать не рискнули. Казалось, что жизнь вокруг так меняется, что и школа для ребенка должна быть другой. Открывались новые альтернативные заведения, и в одно из них он поступил – это был так называемый «лицей на Воробьевых горах», в знаменитом здании Московского городского дворца пионеров, этот лицей был создан на основе кружков гуманитарной направленности – фольклорного, исторического, литературного etc.

Для того чтобы Митя мог ходить в этот лицей, ему потребовалось переехать к бабушке на Академическую. И жить несколько лет с ней. Трудность решения состояла именно в этом, и когда Митя первого сентября проснулся, настроение у него было просто ужасным. У меня тоже все дрожало внутри, я не знал, чем ему помочь и какие слова сказать.

Мальчик в белой рубашечке, в новеньких брючках, стоял передо мной с дрожащими губами и чуть не плакал.

В этот момент в дверь позвонил Калашников. Было примерно восемь утра.

– Так! – громогласно сказал он, стоя на пороге. – Это что еще за траур?

...У меня просто от сердца отлегло. Я вдруг вспомнил, что накануне вечером по телефону поделился с Калашниковым своими горестями, и он сказал, что ерунда, он приедет и отвезет ребенка в школу на мерседесе. Будет совсем другой колленкор.

Я не поверил, а оказалось правдой.

Мы вышли из подъезда. Ася с цветами, я держал Митю за руку, сзади болтался ухмыляющийся Калашников. У подъезда стоял старенький, но до блеска надраенный зеленый мерседес.

– Откуда ты его взял? – оторопело спросил я.

– Какая тебе разница! – заорал Калашников. – Залезай! Опаздываем!

Митя даже улыбался в дороге.

Шло время. Обложка «Огонька» по-прежнему работала, немного помогая Калашникову в его разнообразных делах.

– Слушай, ты не можешь достать мне второй такой журнал? – спросил он меня однажды, как всегда, при важном разговоре слегка краснея и зеленея одновременно, а глаз его при этом наливался каким-то ярко-желтым цветом.

– Зачем?

– Я уже не могу, неудобно показывать, этот истрепался совсем.

Я пожал плечами.

– Попробую, ладно.

Надо было просто украсть из редакционной подшивки, но я не решился. Тем не менее Калашников обзавелся дублем, но и дубль вскоре пришел в негодность от слишком частого употребления – задохматился по краю. Саша заходил в кабинеты министерства культуры, в Верховный Совет и Госдуму, в министерство строительства, и администрацию президента, да куда угодно. Впрочем, этот дар открывать все двери был у него и до «Огонька» с обложкой.

...Однажды он так сумел дойти до Фонда культуры на Гоголевском бульваре, куда каждый день ездила на работу Раиса Максимовна Горбачева.

– Ну вот представляешь? – говорил он. – А если бы в этот момент у меня был «Огонек» твой? А? Представляешь, какой был бы эффект? Эх, поспешили вы скидывать Горбачева.

Однажды он пришел ко мне поздно вечером на Аргуновскую с каким-то молодым человеком. Молодой красивый грузин отказался от вина и коньяка, пил минеральную воду и застенчиво улыбался.

– Ты понимаешь, что это за человек? – оглушительно шептал Калашников на всю квартиру. – Он так театру помог, ты себе просто не представляешь... Ты обязательно должен о нем написать. И о его фирме. Гоша, прости, как твоя организация называется?

Грузин краснел и отмахивался.

– Я вас очень прошу, – обращался он ко мне, – не обращайтесь на Сашу внимания. Я это делаю по велению души.

В моей голове сразу возникали разные ассоциативные цепочки – что там за бизнес, что за компания, долго ли проживет этот милый Гоша в криминальной Москве, и не попадет ли сам Калашников в перестрелку – а кто ж его знает...

Вежливо попрощавшись, Гоша ушел, а я строго переговорил с Калашниковым...

– Пойми... Я пиаром не занимаюсь. Это другая профессия.

– А как я, по-твоему, Театроград построю? – просто ответил он.

...Словом, ради своей мечты Калашников был готов на многое.

Например, он стал местным депутатом, с гордостью показывал мне значок – Кузнецкого городского совета.

Теперь он заседал на сессиях, вносил законопроекты, выступал перед избирателями.

Я думаю, избиратели были совершенно потрясены, с его-то способностями Саша вполне мог бы сделать себе политическую карьеру – проблема была в том, что он говорил везде только о Театрограде.

Если еще в начале 1990-х, потрясая нашим «Огоньком», Саша смог выбить из директоров городских предприятий какие-то деньги на «нулевой цикл», и даже вырыть огромный котлован, то потом все застопорилось. Котлован залило водой.

Пошли статьи в местных газетах, о том, что парке должны гулять дети, что деньги небось все украли, и вообще кто он такой, этот подозрительный Калашников, какова его общественная позиция в наши трудные дни? Патриот ли он вообще?

Саша смеялся, когда показывал мне эти статьи, но они, конечно, делали свое черное дело.

Грянула осень 1993-го, и в новый законодательный орган Калашникова вроде бы не избрали, работы по строительству Театрограда встали на паузу.

Начиналась совсем другая эпоха.

Нельзя сказать, что Саша со своим «Бумом» потерялся или растерялся в этой новой эпохе. Отнюдь нет.

Он устроил у себя в Кузнецке фестиваль уличных театров, причем международного уровня, туда приезжали коллективы из Прибалтики, из Ташкента, из Молдавии и Латвии, из Питера и Нижнего (хотя все города я не помню).

Поразительно, что не раз и не два в составе жюри был Слава Полунин, самый известный у нас в стране на тот момент мим, или клоун, в общем, великий человек, благодаря его присутствию фестиваль в Кузнецке приобрел такую репутацию, о которой и в областном городе можно было только мечтать, а уж в районном центре Пензенской области и подавно. Да вообще в стране таких фестивалей больше-то и не было, на мой взгляд.

...Каждый год, примерно в начале декабря, он звонил мне и спрашивал, приеду ли я в этот раз. На очередной фестиваль.

Каждый год я бекал и мекал, откладывал решение и не приезжал.

– Ну вот я не понимаю! – кричал Калашников в трубку. – Зачем ты все эти статьи писал? Зачем ты эту обложку сделал? Значит, это было не искренне?

– Ну почему же? – смущался я. – Очень даже искренне. Ну просто у меня работы много. Пойми.

Он бросал трубку, и я оставался один на один со своими размышлениями.

Почему я к нему не ехал, действительно?

Ну странный вопрос. А почему я в середине 80-х не ходил на подпольные рок-концерты и рок-фестивали, организатором которых был мой друг Илюша Смирнов? (То есть ходил, но всего пару-тройку раз.) На собрания клуба «Перестройка»? На митинги? В отличие от своей подруги Якович, на митинги 80-х я тоже почему-то не ходил.

Но, помимо моей обычной лени и нежелания рано вставать, была еще какая-то причина, которую я не мог точно сформулировать.

Калашников и так оказывал на меня слишком сильное воздействие, без всякого фестиваля. Он был моим медиумом, который невидимо и неслышимо посылал мне прямо в мозг какие-то свои сигналы, вот с того с самого первого раза, когда он лежал на кровати и раскладывал вокруг себя фотографии.

Что же будет, если я съезжу на этот его фестиваль?

Я цеплялся за бытовую лень и занятость, и не ездил.

Еще одна важная наша встреча произошла на так называемой Театральной Олимпиаде в 2001 году. В Москву тогда съехалось около ста уличных театров со всего мира. Саша позвонил и пригласил меня с детьми в сад «Эрмитаж».

...Надо сказать, что я всегда не очень понимал этот жанр.

У меня была знакомая, которая несколько лет прожила с мужем-музыкантом во Франции, работая в каком-то уличном театре. Она там обшивала всю труппу, монтировала декорации, работа была адская и за копейки. Это был какой-то очень известный коллектив в Европе, но она никак не могла мне объяснить, что же это в целом такое. Кроме того, что они ставили «античных авторов в своем переложении», я так ничего и не узнал. В спектаклях Калашникова, которые шли под крышей, я все понимал – вот люди с бешеной скоростью перемещаются по сцене, кричат и бьются головой об твердый пол, прыгают на автомобильных камерах, с риском для жизни создавая какой-то сюжет – но что такое этот театр в декорациях города или парка?

И вот теперь мне это предстояло понять.

Я вошел в сад «Эрмитаж», крепко держа сына за руку. Все было странно.

Уличные актеры, клоуны, комедианты взмывали в воздух на канатах, обращались ко мне на немецком языке, вокруг горели в площадках жертвенные огни, и, повинаясь парам горячего воздуха, маленькие железные человечки крутили свои грустные железные велосипеды. Безумные девушки с оранжевыми волосами летали по теплomu воздуху где-то вверху, и толпа шараялась от них по свежей выстриженной траве.

Человек на ходулях прошел мимо меня и рассмеялся своей красной улыбкой на белом лице.

Это было уютно и совершенно не страшно.

...За каждой маской, за каждым человеком на ходулях, за каждым канатоходцем, за каждым снопом огня, вырвавшимся из горла, за каждым звуком, издаваемым десятками барабанщиков – стоял, переливался, дрожал какой-то общий смысл.

Если говорить коротко, это было осязаемое и явное присутствие бога. Я тогда задумался над этим – может быть, я как-то жестоко ошибаюсь, ведь все-таки большинство этих знаков и символов имеют дикую языческую природу, никак не связанную с христианским гуманизмом, но в грудь меня толкнула другая мысль – нет. Нет, конечно же, это пришли боги спасти этот город.

...Дело в том, что Москва была уже тогда городом «богооставленным», мы просто этого не замечали.

Еще впереди был Беслан, да и многое другое, но в целом казалось, что одичавшая, одуревшая от своего внутреннего сиротства Москва не может быть площадкой для таких чудес. А она – вдруг стала.

Помню, как я мягко опустился на траву, лег на спину и стал смотреть на канатоходца – эта была девушка с голубыми волосами, которая шла вдоль фасада бывшего театра, на огромной высоте, на канате, держа в руках длинный шест.

Я лег на траву и выдохнул. Меня охватила внутренняя дрожь и пробило счастье.

Будущее, оказывается, все-таки возможно!

Потом мне позвонил Калашников и хриплым от перенапряжения голосом сказал, что он сходит с ума, что Полунин обманом втащил его в эту авантюру, что он устал и больше не может, и что он все-таки приглашает нас всех с детьми в парк Кусково в такой-то день в одиннадцать вечера. «Пусть во всем этом будет хоть какой-то смысл», – грустно сказал Калашников.

...Ехать в парк Кусково к одиннадцати вечера мне не очень хотелось. Я совершенно не представлял себе, как буду оттуда уезжать после часа ночи, да еще с детьми. А в том, что это не кончится раньше часа ночи, можно было не сомневаться. Но дети твердо сказали мне, что ехать надо. Что они никогда в жизни не увидят больше ночного представления на воде. И я взял такси.

...Мне казалось, что в парке Кусково мы присоединимся к немногочисленным поклонникам Калашникова. Что там ночью будет человек сто небольшой спянной театральной тусовки.

Но вдруг машина остановилась на светофоре. Зажегся зеленый, но через дорогу в темноте валила какая-то бесконечная огромная толпа. Массы людей осмысленно передвигались к дальнему концу озера, мимо усадьбы, по гравийной дорожке.

«Неужели им так интересна водная феерия “Алые паруса”?» – недоверчиво подумал я. И попытался разглядеть, откуда они идут. Они шли из близлежащих спальных микрорайонов. Они



шли из огромных белых домов, в которых почти все выключают в одиннадцать вечера свет, потому что рано вставать.

И я понял, почему все это происходит. Об «Алых парусах» ничего не было по радио и телевидению, в газетах и журналах. Не было никакой рекламы. Калашников просто расклеил несколько афиш. Люди сами передали друг другу эту благую весть. Они сразу поняли, что на этот раз театр будут показывать именно для них, для жителей близлежащих домов в микрорайоне Перово.

Грубо говоря, на Калашникова надвигалась настоящая людская масса, исчисляемая тысячами людей. Они шли с маленькими детьми, тащили коляски, корзинки с едой, глухо переговариваясь во тьме.

И вдруг я понял, что всю свою жизнь Калашников хотел ставить спектакли именно для *них*.

Поплыли плоты с красными парусами, их двигали русалки (команда девушек по синхронному плаванию), громовыми голосами произносили диалоги над водой артисты, в общем, это было представление по законам жанра – мрачно, громко, красиво, прожектора, вода, и пусть я любил более камерные зрелища, тут пришлось замереть и не дышать, потому что исполнялась мечта Калашникова – буквально на моих глазах.

Часа в три ночи мы уехали, поймав на дороге машину.

Трудно сейчас сформулировать, какими были наши отношения.

Несмотря на то что мы порой и встречались, и подтрунивали друг над другом, и ужинали у нас дома, и созванивались – все равно оставалась какая-то неясная зона. Я его очень любил. В те первые минуты или часы, когда он снова являлся в мой мир, я смотрел на Сашу с обожанием. Это был невероятный по яркости человек.

Потом мне хотелось выскользнуть из его, так сказать, ментальных объятий – Калашникова было так много, что ты уже не мог вздохнуть, он поглощал тебя всего.

На самом деле Саша очень любил нас всех – меня, Асю, Сашу, Митю, хотел порадовать подарками, всегда куда-то звал. Мне даже кажется, что он был, несмотря на то что крутился где-то там, на своих космических орбитах, важной частью нашей семьи. По крайней мере, Саша был частью меня.

Мне было важно, что Калашников существует.

– Да ты просто не знаешь, как у нас люди живут! – говорил он мне горько, когда мы спорили. – Это ж не Москва.

– Ну и что? – пытался понять я. – И что, что не Москва?

– Ты не поймешь.

В начале 2000-х жизнь его вообще пошла как-то по-другому.

Калашникова стали сживать со свету в Кузнецке. Появились злобные доносы и фельетоны, которых можно было ожидать в новую эпоху: сменился губернатор, сменился мэр, все сменились, и Калашников с его полным неумением говорить дипломатично, мягко, округло, не стеснявшийся ни в каких выражениях, ни по какому поводу – стал врагом. Ему припомнили все – и недострой в парке, и то, что в Москве он бывает чаще, чем в Кузнецке, и подозрительные спектакли, и подозрительные высказывания.

Его попытка превратить «Алые паруса» в коммерчески выгодную франшизу тоже не удалась – строительная фирма больше не хотела финансировать эту дорогостоящую забаву, и, хотя однажды Калашников показал свой театр на ночной воде даже где-то в Испании – на этом вся франшиза закончилась.

В Москве он занимался уличными театрами в Союзе театральных деятелей. У него уже было имя в театральной среде, но боюсь, административная работа была ему совсем не по нутру.

Наконец он окончательно переехал в Москву.

Прошла еще пара лет, вдруг Калашников позвонил и пригласил на свой спектакль. Оказалось, он служит приглашенным режиссером в Московском областном детском театре, а сам спектакль (какая-то народная притча, мистерия, ну в общем, что-то в его духе, по русским сказкам) состоит в музее Победы на Поклонной горе.

Место было странное, кругом были диорамы битв, бесконечные коридоры, мрачно блестели ордена и знамена, но вот мы набились в какой-то маленький зал. Там было что-то похожее на Калашникова, необычайная плотность движений и звуков, выкрики, пляски.

Но вообще-то спектакль был плох.

Все было как-то мимо. Ася вышла из зала.

Я никак не мог понять, что же не так, а потом понял. Играли взрослые актеры. В них не было главного качества – наивности, веры в чудо, которое есть в подростках, того самого «бума».

Саша вышел к нам на минуту, я с трудом сказал ему что-то хорошее. Он странно выглядел. Я не видел его несколько лет, и отметил это.

Калашников как-то резко изменился внешне. Было ощущение, что его как будто раздрает в разные стороны – в разные стороны смотрели глаза (я тогда впервые это понял), рот кривился, где-то через слово он ругался, и раздражение выплескивалось – да, это было обычное режиссерское раздражение на игру актеров, на недоделки, на ляпы, но за этим раздражением проступало нечто большее.

Я вдруг вспомнил, что его родной брат умер от сердечного приступа в очень молодом возрасте. Как говорится, шли годы.

Калашников теперь жил в Москве, активно заводил знакомства, к чему-то готовился, что-то задумывал и совсем не производил впечатления грустного или мрачного человека.

Однажды он позвал меня на «музыкальный салон», где хотел с кем-то познакомить, изложить какую-то идею, я сказал, что приду, давно не виделась.

– А где это? – спросил я.

– Хохловский переулок. Там есть такой музыкальный салон Юргенсона, номер дома... А, не помню! Ну ты найдешь: Хохловский переулок, ты же знаешь, наверное.

– Наверное, да, знаю, – гордо сказал я.

– Ну да, ты же москвич! – захохотал Калашников.

Я вышел из метро «Китай-город» и пошел по Маросейке и Покровке.

Когда я понял, что не знаю, где Хохловский переулок, мне стало очень обидно. Я решил идти и идти, до конца улицы, заглядывая и заворачивая в каждый переулок, но быстро устал.

Завернул туда, завернул сюда, но нигде не было этого злосчастного Хохловского переулка. Я просто сходил с ума. Стал спрашивать у прохожих, но я уже ушел далеко, куда-то в район Басманной улицы.

Потом я проходил по Хохловскому переулку сотни раз. Но именно в этот вечер я в него не попал.

В тот вечер мы так и не увиделись.

А через пару лет Сашу разбил удар. И он умер.

Таня позвала на скромные поминки в «Театр юных москвичей», с которым Саша дружил, возле Ленкома. Там были разные актеры, режиссеры, журналисты, какие-то мои знакомые.

Показывали фотографии, те самые. И ту самую обложку.

Мы вышли из подвала, я взял Асю за руку.

И вдруг подумал, что я так ничего и не понял про Театроград – как это должно быть, как это работает, что это такое.

И уже не пойму в этой жизни.

Только в следующей.

### **Мой бывший сосед Витя**

Когда я жил на улице Кедрова, был у меня такой сосед – Витя.

Жил он буквально в соседней квартире, однокомнатной, на нашем четвертом этаже – дверь в

дверь с нами. Это была кирпичная пятиэтажка пятидесятых годов. Очень хороший дом, кстати, ни под какую реновацию он потом не попал.

Когда мы впервые туда пришли, впечатление было, правда, не очень. Лифта там не было (хотя в других пятиэтажках иногда встречался), и мы пошли на четвертый этаж по лестнице, буквально залитой кровью. Ну не залитой, может быть, но закапанной. На нашей лестничной клетке стоял сосед Витя и внимательно смотрел на нас.

– Что ж это такое, а? – взволнованно спросил я.

– Да вот, хуйня такая, человека зарезали, но вроде жив он остался, – каким-то странным голосом, выражающим то ли ужас, то ли смятение, сказал Витя, и медленно удалился. Дверь за ним захлопнулась, и мы вошли в свою квартиру.

...Через день к нам пришел участковый милиционер с обходом. В руках у него была папочка.

– Так! – весело сказал он. – Тут у нас что? Ага! Тут у нас притон!

– Точно! – сказала Ася. – Чего в бумажки смотрите, сами не видите? – в коридор выбежали наши дети и увидев дядю в форме, прижались к ней. Детей было двое, восьми и пяти лет соответственно.

Участковый как-то притих, и сделал в бумагах какую-то пометку. Вежливо попрощался и ушел.

...Действительно, наша квартира производила страшноватое впечатление. Потолок был черный после произошедшего недавно пожара, на нем было крупно написано «Спартак», ремонт никто, конечно, не делал, по углам валялись какие-то тряпки. Там была такая ситуация: родители спились, а выросшие дети спиваться не хотели. Они и придумали этот обмен. Родителей отправили в дом в деревне, на излечение, а сами переехали в нашу квартиру на Аргуновской.

Сами юридические процедуры прошли нелегко, и не было твердого ощущения, что все у нас получится: руки и лица бывших квартиросъемщиков дрожали от волнения и похмелья, казалось, они плохо понимали, что происходит. Однако в процессе я понял две вещи: во-первых, они действительно хотели переехать в деревню, подальше от своих бывших друзей, и во-вторых, когда-то они были нормальными людьми.

Папа, например, посмотрев на наших детей, вдруг сказал:

– Только вы в ближайшую школу детей не отдавайте! Которая через дорогу. Это бандитская школа!

– Тут до нас какие-то евреи жили! – сказала мама. – Вот видите, они тут вот шкафчик построили.

Действительно в коридоре был очень удобный высокий шкафчик для инструментов и прочего хозяйственного барахла – гвоздей, шурупов, лампочек, изоляции, и прочего. Он был самодельный, и выдавал в бывших жильцах («евреях») сильную практическую мысль.

...Как там дети и родители решили между собой денежный вопрос (а доплата была по тем временам немаленькая), я не знаю – но абсолютно точно, что папе и маме эти деньги нельзя было выдавать ни под каким видом.

Буквально на следующий день после переезда (был выходной) в дверь раздался звонок – я вздрогнул, решив, что к нам снова пришел участковый.

Но это был другой человек – тот самый, который объяснил мне, откуда на лестнице кровь.

– Я ваш сосед, Виктор! – громко сказал он. – Здравствуйте!

Мне Витя показался человеком чуть старше меня, ощущение усиливалось тем, что он носил очки с очень большими диоптриями, и глаза его в очках были крупными и выпуклыми, а взгляд приобретал крайне внимательное выражение. Витя как будто гипнотизировал меня этими своими неестественно крупными глазами. Кроме того, он сильно хромал, и был, насколько я понимаю, инвалидом детства. Одним словом, имелись у него серьезные проблемы со здоровьем.

– Я, собственно, вот по какому делу... – смущенно сказал сосед Витя. – Нет ли книжки какой почитать? Я, в общем-то, мало куда выхожу. Хочется чем-то себя занять.

Я сказал, что книжек тут полно, но они еще не распакованы, мы их сначала снесем в одну комнату, и я тогда что-то подберу.

Я поинтересовался у Вити, что ж за подъезд, в который мы переехали, что за обстановка нас ждет – тут алкаши жили, там поножовщина. Какие прогнозы?

– Да ну, ерунда! – отмахнулся Витя. – Подрались ребята, с кем не бывает. Ну а ваши бывшие жильцы, они ж уехали. Теперь в подъезде будет покой, красота. Короче, слушай, я завтра зайду.

И он действительно зашел завтра. Я подобрал ему первую книжку.

На следующий день он пришел снова.

– Не пошла... – сокрушенно сказал он. – Чего-то не пошла. Можно другую?

– Сейчас, – сказал я и начал копаться в картонном, еще не распакованном ящике. Страсть Вити к чтению вызывала во мне уважение, и мне захотелось понять ее природу.

Впрочем, Ася говорит, что все это – кровь на лестнице, визит участкового, первое знакомство с Витей – было значительно позже, когда мы уже переехали и сделали ремонт. А сначала была просто эта страшная квартира после пожара. Наверное, она лучше помнит. Но мне запомнилось именно в такой последовательности.

Квартира у самого Вити была однокомнатная, но просторная – большая комната, большая кухня, коридор. Выглядела практически как двухкомнатная.

...Витя, кстати, оказался в целом прав. Обстановка в подъезде довольно быстро менялась. На входной двери поставили кодовый замок, въезжали какие-то новые соседи, они ставили железные двери, на лестничных клетках появились домашние растения в кадках, какие-то уютные коврики, все становилось цивилизно и аккуратно.

Вообще это была удивительная в своем роде квартира. Она была угловая, окна выходили на три стороны. Не будучи очень уж большой по метражу, она казалась просторной из-за того, что предыдущие соседи («евреи, наверное») отделили от одной комнаты простенком еще одну, узкую как пенал – и комнат поэтому было теперь у нас целых четыре: спальня, кабинет, детская и гостиная. Я никак не мог привыкнуть к этому обстоятельству – и порой долго смотрел в спину ребенку, который важно шел по длинному коридору, проходя мимо разных дверей – это зрелище казалось мне гипнотическим.

Но самое главное – это деревья, окружавшие наш дом. Они были высокие, большие, и их мощные ветви толкались прямо в окна, во время сильного ветра вызывая тревогу – шорох и стук в стекло были как будто живые. Потом мы привыкли.

Летом и осенью во всех окнах было удивительное освещение – солнце светило сквозь листья. Рядом с нашими окнами росли две огромные, достававшие до четвертого этажа, груши. Весной они зацветали розовыми мелкими цветами. Из окна в детской была близко видна странная плакучая береза с длинными как опущенные руки ветками. Листья дрожали, солнечный сложный узор переливался на потолке, от ветра деревья шумели, было какое-то ощущение сказочной детской книги – мы жили как в лесу, при этом буквально в пятидесяти метрах от нас шипела и воняла шумная Профсоюзная улица. Мы были отделены этим «внутренним лесом» от нее, то есть от обычной Москвы.

Дети были еще маленькие и не успели отстроиться и отдалиться, это были наши золотые годы, и я чувствовал это. Я чувствовал, что дальше будет как-то по-другому, может быть, тоже по-своему хорошо, но уже не так. Не так хорошо.

Однако думать было особенно некогда – нам предстояло обустроить эту квартиру самим. И если на Аргуновской – все было просто, там в «большую комнату» с некоторым трудом влез письменный стол, книжная «стенка», раскладной диванчик, на этом пространство кончалось – тут, на Кедрова, все было несколько иначе. Тут нужно было *вообразить* новое пространство, прежде чем начать его заполнять.

Однако оказалось, что Ася к этому готова – и у нее есть много новаторских идей.

Например, довольно высокий (как и во всей квартире, разумеется) потолок на кухне она решила покрасить в темно-коричневый цвет. (Там было пятно, потолок когда-то протек, и пятно не поддавалось никакой побелке). Такими же темно-коричневыми стали и оконные рамы. Стены были темно-розовыми, но за точность оттенка не поручусь.

Тетенька, которая была маляр и штукатур и делала нам довольно примитивную отделку-побелку (в частности, белила изуродованный пожаром потолок), долго кричала, подбирая нужный оттенок на кухню, как ей казалось, он был излишне мрачный. Однако Ася не сдалась, и потолок был в итоге был именно коричневым.

С другой стороны, в туалете потолок и стены были нежно-розового оттенка, а наша подруга Жень Двоскина нанесла еще на стены по трафарету какие-то мелкие цветочки, рисунки и прочее. В ванной стены были голубые.

...Затем нам предстояло подобрать обои во все четыре комнаты.

В гостиной, где долгое время находились только два кресла и телевизор, и еще модное ярко-красное кресло-мешок, в него можно было плюхнуться, а выползть приходилось уже на четвереньках, были выбраны снежно-голубые колючие тона, еще с какой-то присыпкой, то есть они были не гладкие, а шершавые, и действительно походили на снег. В спальне был выбран сильный контраст между очень темными обоями и белым шкафом-купе с большим зеркалом. Обои были какие-то очень дорогие (а что ты хочешь, это же шелкография, объяснила Ася), но мне было все равно.

Слава богу, мы теперь жили на Профсоюзной, а каждый москвич знает, что здесь еще в советское время была обойная мекка – магазины, мелкие лавочки и просто «индивидуальные предприниматели», которые торговали обоями в советское время из-под полы, а сейчас – открыто, с каких-то лотков. Одновременно тут брали краску, нанимали рабочих, у меня вообще было ощущение, что весь город или, по крайней мере, полгорода находились в состоянии ремонта, обмена, переезда и прочего.

Люди переезжали, менялись, расширялись, обустривались, и это, пожалуй, был главный сюжет для Москвы в то время.

...Скрытый за внешними мрачными событиями, но на самом деле чуть ли не основной.

Когда все было закончено, стало ясно, что в гостиной у нас все-таки пусто, и тогда Ася воткнула в большой горшок-кашпо небольшое сухое деревце, а Жень Двоскина покрасила ветки белой краской – на концах ветки были красными.

Некрасивый, но полезный шкафчик в коридоре (не тот, что остался от «евреев», а новый) обклеили остатками обоев растительного «гобеленового» орнамента, которые пошли в коридор, на кухне основным компонентом по-прежнему служил «уголок» из скамьи-сундука, коричневых плитусов и полок, вывезенный нами с Аргуновской.

Дом рождался буквально на глазах.

Единственное, чего у нас не было – это кровати. Раньше (приблизительно 15 лет) мы спали на раскладном почти детском диванчике, теперь его отправили в «кабинет» и нам остро нужна была новая кровать. С этим возникла какая-то проблема. Комната была узкая, кровать нужна была «полуторная», белый шкаф-купе с зеркалом тоже едва помещался, нужно было еще придумать, как использовать кровать для хранения белья и других разных вещей, одеял и прочего. Везде в мебельных были только дорогие «спальни» (то есть огромные гарнитуры), а простую узкую кровать было никак не найти.

Наконец подруга Двоскина, которая в то время была нашим добрым ангелом, нашла подходящую кровать белорусского производства на какой-то то ли 17-й, то ли 25-й Парковой улице, и я поехал туда.

Это, разумеется, был последний экземпляр, я отсчитал деньги дрожащими руками и вышел в поисках грузовика.

Грузовик стоял буквально за углом, водитель помог мне кровать погрузить в кузов (она представляла собой несколько отдельных упакованных ящиков), и предложил залезть в кузов самому.

Никогда не забуду, как я ехал домой, на Профсоюзную, через всю речку Яузу, на грузовике. Горбатые мостики, старые набережные, по реке тогда еще плавали катера, деревья грустно склоняли голову к воде. Я выглядывал из кузова, раздвигая брезентовые шторы. Было красиво.

Дома я стал читать инструкцию по сборке – и охнул.

Стало понятно, что без соседа Вити мне не справиться. Надо было звать его на помощь. Мы в последний раз переночевали на диванчике в кабинете. Утром Ася приготовила полный обед – суп, жаркое, салат, компот, и вот я позвонил ему в дверь.

Нельзя сказать, что Витя воспринял мое предложение с какой-то радостью или даже готовностью. Нет.

– Слушай, – сказал он несколько озадаченно. – Я попробую, но вообще... черт его еще знает, что там за конструкция.

Следующие три или четыре часа Витя провел в битве с кроватью белорусского производства и с инструкцией по ее сборке. Он шипел, кричал, ругался, глаза его в очках с большими диоптриями наливались кровью. На это было страшно смотреть.

– Кто это пишет? – орал он, пытаясь разобрать язык инструкции и логику действий.

Витя по профессии был инженер по технике безопасности.

Я не автомобилист и не знаю, сравнимо ли было это занятие с такими советскими развлечениями, как «перебрать мотор» или «поставить карбюратор» на какие-нибудь там старые «Жигули», но мне кажется – да, вполне сравнимо.

Наконец Витя закончил, весь в поту и в мыле, кровать складывалась и раскладывалась, все многочисленные гайки были привинчены, болты закручены, ничего не скрипело, все прекрасно работало.

Я мысленно поблагодарил бога и Витю. Шансы были не так уж велики.

В процессе битвы с кроватью был страшно поцарапан отциклеванный, свежепокрытый лаком пол. Глубочайшая царапина осталась навсегда.

Затем Витя с удовольствием съел обед, переходящий уже в ужин. Мы снова горячо его благодарили, понимая, что обед – не совсем равноценная замена такому тяжелому труду.

Все эти три или четыре часа я пытался Вите помогать, то поддерживая кровать в нужном положении, то налегая плечом, то подавая запчасти, но все это была ерунда. Витя собрал кровать практически один. Ася все эти три или четыре часа просидела на кухне, горестно оперевшись подбородком о ладонь и ожидая конца эпопеи.

В общем, в каком-то смысле это был подвиг.

Спина у Вити после подвига долго побаливала.

...На следующий день Витя снова пришел за книжкой. Иногда он приходил и за чем-то хозяйственным (соль, спички, подсолнечное масло), но чаще все-таки его интересовали книжки и кассеты.

Видеомагнитофон появился у Вити не сразу, через полгода после меня, поэтому сначала были только книжки – он перебрал практически всю мою библиотеку. Философские книжки (которые я и сам не читал) или книжки про политику Витя не любил. Исторические или мемуары брал охотно. Десяток или два имевшихся у меня деттивов прочел жадно, быстро, но очень низко оценил их качество, особенно Дашкову и Маринину, случайно валявшихся на подоконнике.

Классику он брал далеко не всегда. «Да это я читал!» – разочарованно говорил Витя, а память, очевидно, у него была хорошая, с другой стороны, что-то из классики «не пошло», но постепенно, ряд за рядом – он перебрал на моих книжных полках все: зарубежную литературу, «литпамятники», отдельные тома библиотеки «всемирной литературы», Томаса Манна и Генриха Манна, Дюма и Вальтера Скотта. Современные русские книжки у него как-то не шли совсем. Кроме Войновича с Довлатовым.

– Понимаешь, – говорил он, сидя у нас на кухне или стоя в прихожей с книжкой в руках, – очень скучно жить. Надо хоть чем-то голову занять. Библиотека для меня спасение.

Очень часто он спрашивал – а читал ли я сам ту или иную книжку? Я не хотел врать, и очень часто честно отвечал, что нет, не читал.

– Ну а как же ты библиотеку собираешь? – недоумевал Витя.

– Понимаешь, – говорил я ему, – это такой материал мне на будущее, пригодится для чего-то, а так ведь я много пишу, редактирую. Работаю, в общем, очень много времени на это уходит.

– Да, у тебя есть работа, – грустно говорил в ответ Витя. Он уже знал, что я журналист. – А у меня работы нет. Завод закрыли, давно уже. Не знаю, чем голову занять.

...Раз за разом возвращаясь к этой теме, он делал это как-то нейтрально, без каких-либо оценок текущей действительности, но я все равно часто испытывал перед Витей чувство вины.

Витя, конечно, был типичный русский человек «без завода», вроде бы совсем не вписавшийся в новую структуру жизни. Его электромеханический завод, где он работал инженером по технике безопасности, давно закрылся (так он говорил), и Витя очевидно был стеснен и в деньгах, но главное – ему нечем было заполнить освободившееся время.

Исключение составлял лишь короткий московский купальный сезон. Летом Витя брал плавки и уезжал на целый день в Серебряный Бор. Других активных развлечений, по-моему, у него не было вообще.

Иногда Витя приходил и по другому поводу (раздавалась тревожная и слегка раздраженная соловьиная трель).

– Слушай, – говорил он. – Ты не можешь найти мне учеников?

– Каких учеников? – интересовался я.

– Ну... я подтягиваю всяких балбесов, по физике, по математике, – объяснял мне Витя. – Помогаю им задачи решать, объясняю основные вещи. Сейчас в школе, сам знаешь, какая обстановка. Учат плохо.

Витя, разумеется, не брался готовить учеников к поступлению в вуз, это было слишком ответственно и вообще требовало, как сейчас говорят, «коррупционной составляющей», нет, он просто готовил к школьным экзаменам шести-, семи- и восьмиклассников, тех, кто просто не мог получить нормальные годовые оценки. Делал он это эпизодически, и это приносило ему совсем небольшой доход, но давало ощущение «статуса», и главное, занимало его время. Вообще проблема пустого времени – была, как мне казалось, тогда для него главной.

Найти учеников для него я никак не мог (некоторое время он занимался то ли с Митей, то ли с Сашей, но продолжалось это недолго).

...Часто какой-то внутренний вопрос по поводу Вити мучал меня, я не мог найти на него ответ. Верней, и ответ, и вопрос, они уходили куда-то высоко, теряясь в очертаниях глобальных перемен.

Ведь вообще-то говоря, найти работу в Москве тогда было можно, даже в самые лихие 90-е. Такое, как Витя, переживали многие, скорее даже большинство. Советский «завод» (в глобальном и экзистенциальном смысле) действительно закрылся или влчил жалкое существование, людям приходилось искать что-то другое. У кого-то что-то получалось, кто-то претерпевал тяготы, но все равно не сдавался.

А вот Витя ничего не искал. Он с самого начала похоронил для себя эту возможность – не знаю, почему. Причем, что интересно, его внутренний «отказ» не был идеологического или морального свойства. Во-первых, он был инвалид, сильно хромал, ездить или ходить куда-то далеко ему было трудно, невозможно, какой-то простой физический труд (вахтер, охранник, грузчик) – это тоже было для него не то чтобы унижительно, но просто физически тяжело. Он попробовал и не стал.

Эпизодически натаскивая учеников «по физике и математике», пытаюсь чинить какие-то старые приборы (от стационарных телефонов до СВЧ-печей, они валялись у него в прихожей

какой-то кучей со спутанными проводами), Витя начал потихоньку приспосабливаться к жизни, где, в сущности, не имел никаких постоянных занятий – и боролся с этим тягучим и долгим временем просто один на один.

Впрочем, тут тоже имелись некие особые обстоятельства, и к ним я еще вернусь.

...Так вот, по моему мнению, вольно или невольно, Витя ставил над собой определенный опыт – будучи еще сильным и не очень старым человеком, он стал жить «просто так». То есть глядя на эту новую жизнь каким-то непосредственным удивленным взглядом и глубоко изучая ее как таковую. В каком-то смысле это был советский «человек без свойств», у которого просто не стало привычной опоры, он летел в своеобразном космосе, в полной свободе от всего, с изумлением и даже некоторым порой восторгом глядя вокруг на эту новую, данную ему свыше свободу.

Витя никогда не жаловался, никогда не просил денег – только скука его отягощала, ну и еще отсутствие учеников – да и то, не потому что они приносили «доход», я думаю, а потому что помогали ему «организовать день».

То, как Витя читал мои книги и смотрел мои кассеты, внимательно изучая новый для себя мир, было не просто «занятием», в этом был какой-то особый подвиг человека, который борется с глобальным бытием и не собирается сдаваться.

Витя совершенно не был поклонником советской власти, и не сожалел о прошедшем периоде истории, по крайней мере, он никогда об этом не говорил – больше того, он с огромным интересом брал у меня с полки книги, которые раньше не издавали, и пробовал их читать. Ему, как я уже говорил, очень понравился Довлатов, но не понравились другие эмигранты более ранней волны – Газданов, Набоков, или Роман Гуль, он их отложил, насколько я помню, совершенно равнодушно.

Все мои кассеты с фильмами он пересмотрел примерно за месяц, но однажды обнаружил под телевизором кассету с рабочими материалами к фильму «Прогулки с Бродским» моей подруги Якович.

Ее он держал неделю, потом принес, потом попросил еще раз. Казалось, что ему не хочется с ней расставаться. Это были действительно «рабочие материалы» – долгие планы Венеции, прогулки по осенней набережной, пустышные разговоры в кафе, которые не вошли в сам фильм, ну и бесконечные монологи Бродского, конечно, тоже не отредактированные и не сокращенные, ради них я и держал кассету, пытаюсь сделать «литературную запись» для журнала.

Кассета, забытая на время Якович, прожила у меня около года, Витя пересмотрел ее, по его собственным словам, раз пять или шесть.

Я осторожно спросил, не хочет ли он почитать Бродского (сам я был к нему совершенно равнодушен).

– Не-не, – горячо откликнулся Витя. – Бродский меня как-то меньше интересует. Но вот Венеция! Понимаешь ли, я же там никогда не буду, ничего этого не увижу. А там так хорошо все показано, качество высокое. Я смотрю, смотрю...

Короче говоря, никакой ненависти ко всему «чуждому» у Вити не было. Наоборот, был глубокий интерес.

Откровенно говоря, я даже не знаю, что именно видел Витя в окружающей его новой жизни сквозь толстые стекла своих диоптрий, какой казалось ему новая Москва, когда он с плавками уходил летом на целый день, была ли в этой вновь открывшейся ему свободе *жить без ничего*, без всяких работ и правил, только горечь и скука (а может была и какая-то сладость) – я тоже не знаю.

Витя был для нас цельным, ясным, добрым и очень хорошим соседом, и мне этого хватало. За годы нашей жизни на Кедрова этот симбиоз сложился в идеальную схему – иногда Витя по Асиной просьбе что-то чинил, иногда стеснительно у нас обедал, по-прежнему интересовался новыми книгами и кассетами, порой (в плохом настроении) по-прежнему приходил и жаловался на скуку, на пустоту времени и отсутствие учеников, ему можно было оставить ключ в случае необходимости и вообще попросить присмотреть за квартирой. Он был совершенно в этом смысле надежен.



...Но была у Вити одна особенность.

Первые годы он вообще казался мне соседом довольно-таки противоречивым, если не сказать сильнее. А дело было вот в чем.

Как вы, наверное, уже поняли, он был человеком широкой, так сказать, души. И у него были друзья. Мужчины его примерно возраста. Учились они или работали когда-то вместе, я не знаю.

Может, просто выпивали.

...И вот эти самые друзья довольно часто приводили к Вите прекрасных дам. Начинался шумный праздник. Это происходило обычно по выходным, но могло продолжаться и на неделе.

В ночи, через вентиляционный люк в туалете в нашу квартиру врвался бодрый женский смех, общий звонкий хохот, выкрики и тосты, страстные мужские голоса в низком густом регистре, все это порой было довольно громко, так что моя собака начинала страшно лаять и беспокоиться. Ася посылала меня звонить Вите в дверь, и там я однажды застал не то чтобы очень молодых и не то чтобы очень красивых, но в целом довольно милых, так сказать, вполне приличных женщин, которые страшно, безудержно веселились, не обратив, кстати, на меня ровно никакого внимания.

Причем это были никакие не бляды, а вполне цивилизные по виду дамы.

Потом я понял, что они приходили на Витину квартиру с той же целью, что и мужчины – повеселиться; наверное, основой этих оргий была, так сказать, роскошь человеческого общения, а возможно, и беспорядочный секс имел место, это, кстати, тоже стало для меня некоторым открытием – практически одинаковая мотивация у обоих полов.

Витя, между прочим, никуда в это время из квартиры не уходил. Ему было некуда уходить. Все эти оргии он стойчески переживал на своей кухне, где в эти «праздничные» дни стелил себе на диванчике, закрыв уши наушниками или берушами.

Однажды какой-то Витин гость допился до того, что попросту забыл, где именно живет его друг. И стал звонить в нашу дверь.

Это было совсем поздно, часа в два или в три ночи, дети были маленькие, Ася стонала от ярости, чуть не плакала и требовала немедленно вызвать милицию, было как-то страшно и противно, а я открывал раз за разом дверь – там стоял очень прилично одетый мужчина интеллигентного вида, со странно затуманенными глазами, как сейчас помню, в турецкой кожаной куртке. Увидев меня, он каждый раз страшно удивлялся и говорил: «А где Витя? Ой, извините, пожалуйста! Ради бога! Я ошибся». Потом он куда-то уходил, а потом опять возвращался.

После таких случаев Витя утром приходил и «дико извинялся», он дышал легким перегаром, и было видно, что ему очень неудобно за своих гостей. Говорил он о них иногда с жалостью, иногда с теплотой, иногда с некоторым плохо скрываемым отвращением.

Одним словом, как я уже сказал, соседом Витя был несколько противоречивым.

Но все-таки прежде всего он был *соседом*. Противоречия были уже на каком-то втором плане. Ни до, ни после него у меня в жизни не было полноценного, живого и настоящего соседа.

И это было важнее.

Да и прощать-то ему, говоря по совести, было особенно нечего. Витя то ли закрыл каким-то образом вентиляционный люк, то ли сдвинул какой-то шкаф, но звуки из соседней квартиры до нас больше не доносились, оргии стали вдруг тише. Я однажды понял, что не только друзья используют Витю и его квартиру, но и Витя использует друзей: во-первых, они делали важное дело – заполняли его пустое время, «организовывали день», и кроме того, все они были, как видно, при деньгах, и приносили Вите в эти дни массу продуктов, которые он складывал в холодильник.

В общем, очень скоро это перестало меня волновать, правда, тут случился один неприятный эпизод – видимо, одни друзья приводили других друзей, не очень надежных, а может, среди баб случился какой-то беспорядок, но на Витину квартиру вдруг напали, самого Витю избили, перевернули все вверх дном, это был форменный разбой.

Однажды я возвращался домой и увидел, что дверь в Витину квартиру открыта, и там работают милиционеры. Затем один из них зашел и попросил меня «осмотреть место происшествия».

Следователь стал говорить с кем-то по телефону, что «тут живет какой человек, ну типа бомж», и мне стало крайне неприятно. Я не стал дожидаться конца разговора и вышел.

К счастью, криминальный эпизод никакого продолжения не имел.

...Наступила новая эпоха. Дети умоляли нас купить компьютер, и вот наконец мы сдались, и это случилось – и когда Витя зашел и увидел это чудо техники, глаза его загорелись, он просидел за монитором час, осторожно нажимая на кнопки клавиатуры. Я вдруг понял, что именно в будущем может стать основным содержанием его жизни – наверное, потом так и было. Друзья собрали ему компьютер, и Витина жизнь, как я думаю, заиграла новыми красками. За книжками он стал заходить реже.

Жизнь на Кедрова, как я уже говорил, всегда казалась мне особым временем, несмотря на все ее неурядицы, она текла плавно и имела какой-то золотистый цвет. Здесь было важно сочетание внутреннего и внешнего мира – наша квартира, которая родилась как бы из ничего, и была полна нехитрыми изобретениями и поделками, была вживлена (или вставлена, как в раму) – в район, заполненный травой, желтой листвой, высокими деревьями. Это была идеальная для меня Москва – простецкая и незамысловатая, тихая и родная, как сама наша пятиэтажка со старой кирпичной кладкой и этой угловой квартирой.

Было лишь два драматических (или эпических) эпизода, которые вонзились в эту московскую идиллию как бы со стороны, обнажив всю ее хрупкость.

Первым эпизодом был московский ураган, произошедший в ночь с 20 на 21 июня 1998 года. Мы вернулись с дачи и не узнали наш двор.

Ураган был такой страшной силы, что легко повалил огромные деревья, снес крыши с автобусных остановок и гаражей, уронил столбы электропередач, и кончилось это трагедией, одна женщина наступила в лужу, куда упал электрический провод со столба, и погибла от тока, были раненые во время падения высоких конструкций на машины, всего тогда погибло несколько человек.

...Я шел по своему двору и не узнавал его. Вывороченные из земли трупы деревьев казались еще живыми. Оголенные желтые сломы как будто сочились. Я гладил деревья, садился возле них, долго смотрел и не мог поверить, что нашего двора, в том виде, каким я его знал, больше нет. Одна из груш погибла. Ветки березы больше не стучали в наши стекла (одно стекло в квартире, кстати, разбилось). Но главное – не было больше того солнечного света сквозь листву, который меня так очаровывал. Понадобилось несколько недель, чтобы распилить эти десятки, может быть, сотни мощных стволов и вывезти их за город. Упали все тополя, которые стояли в два ряда вдоль улицы Кедрова. (Сегодня уже выросли новые деревья, но не такие большие.) Дом стал каким-то голым.

Когда я шел в тот день, потрясенный и ошарашенный, возле подъезда стоял Витя.

– Вот... горе-то какое, – сказал он. И зашагал своим хромым шагом куда-то к метро.

Примерно за год до этого мы купили собаку.

Это была рыжая девочка, помесь, как нам сказали, лабрадора и сеттера, последняя из помета, слабая и дрожащая. У девочки было врожденное заболевание, приступы собачьей эпилепсии, когда эти приступы начинались, дети замирали и тихо гладили ее, скулящую и бьющуюся в конвульсиях. Это было печально.

Но это была наша первая собака, и мы ее очень любили.

Нам удавалось провезти ее в метро до Нескучного сада, в какой-то большой сумке, чтобы как следует погулять. Прогулки эти были упоительны, особенно осенью. Однажды мы таким образом дошли до знаменитого пруда под горбатым мостиком, который, говорят, построили еще для Екатерины Великой. Пруд был невероятно живописен. Мне было так хорошо, что я отпустил собаку и не заметил, как она прыгнула в ледяную воду. С трудом могу сообразить, каким образом мне удалось поймать ее за ошейник с берега и вытащить на берег. Джуля страшно дрожала. Я завернул ее в свою куртку, свитер, взял на руки как ребенка и буквально побежал к метро. Казалось, что она умирает. Это имело, конечно, свои последствия.

Приступы участились, болезни стали более продолжительными. Она умерла в возрасте семи лет.

С Джулей можно было идти мимо лавочек в темноте, где светились огоньки сигарет, забираться с ней в любые углы, на любые пустыри. С собакой было как-то спокойно.

За эти годы, которые прошли на Кедрова, много чего еще случилось – война в Чечне и выборы президента, дефолт и взрывы домов, но то, как были выворочены деревья, словно прошла бомбежка, и то, как я бежал с собакой, которая замерзала и задыхалась от ужаса, запомнилось очень остро.

Как я уже говорил, непрочность этого мира была мне явлена именно тогда.

Что же касается моего соседа Вити...

Он всегда казался мне фигурой в какой-то степени символической, и тут, наверное, нужно какое-то обобщение.

Так уж повелось, что Москва никогда не делилась на богатые и бедные районы, по имущественному или социальному цензу. Это даже при том, что при поздней советской власти очень полюбили строить целые дома или кварталы «для начальников» – «дом МИДа» на Смоленской, «министерский дом», «генеральский дом», «цековский дом» – и все равно их всегда окружали дома, так сказать, «со смешанной структурой». Люди давали этим домам для начальников на смешливые клички – «ондатровая деревня» (у советских начальников были в моде такие зимние пальто с ондатровым воротником, их шили в специальных партийных ателье), или «царское село». Но эти самые «царские села» тонули в общем океане московского равенства, и никогда не определяли статус района.

И это при том, что Москва в поздние советские годы уже была невероятно «блатным», как мы все говорили, городом: по блату поступали в институт, по блату добывали кусок мяса в магазине, по блату лечили зубы, по блату покупали книги, по блату брали путевки в санаторий. И тем не менее, более богатых и более бедных районов в Москве никогда не было. Ну вот не было их, и все!

Этот – по сути, главный – принцип московской жизни, легко было увидеть невооруженным глазом.

Можно было, например, войти в любой практически двор на Арбате, увидеть черную «Волгу», смиренно ждавшую у подъезда какого-нибудь заместителя министра, и тут же, через десять шагов, натолкнуться на такую жуткую пьянь, что не приведи господь. Это вот и были *соседи*.

Такое всегда считалось в Москве нормальным.

Возможно, думаю я сейчас, это была единственная мировая столица, где жизнь упрямо строилась именно по такому принципу.

И никому – ни Брежневу, ни вечному московскому начальнику Гришину, ни Горбачеву, ни Ельцину Москва не давала этот принцип изменить.

То, что происходит в Москве сейчас – это, в сущности, бунт властей против этой практически столетней демократической традиции.

Против той традиции соседской культуры, которая в этом городе была всегда. Была и до революции (всегда рядом стояли совершенно непохожие по социальному составу дома), и уж тем более после нее.

Сегодняшний градоначальник и его команда решили сломать эту важнейшую московскую «скрепу». Идея с реновацией – это же не просто делание фантастических денег из воздуха, или строительная афера, или проект гигантской реконструкции.

Для меня лично – это прежде всего попытка расселить Москву по разным социальным кластерам.

Всех богатых засунуть внутрь Садового кольца, всех бедных – по периметру МКАДа и в Новую Москву, ну, а средних, их пока оставить где-то посередине. Устроить в одном городе несколько совсем разных городов.

В принципе, идея, как говорится, не нова. Взята, так сказать, из мирового опыта. Ровно так живет, например, Нью-Йорк. Манхэттен это вам не Бруклин, а Бруклин совсем не Квинс. Такая же петрушка наблюдается, в общем, и в Лондоне. И даже отчасти в Париже. Там так удобней. Там все к этому привыкли.

Но только не в Москве!

И дело тут не в том, что в Москве так никогда не было. Просто такая имущественная сегрегация сразу дает выход чудовищному московскому жлобству, вот этой нутряной соседской ненависти, страшным социальным конфликтам, тяжкому бесправию людей, и в конечном итоге – революции и погрому.

...Я это понял, когда гулял недавно в районе той самой фабрики, которой в 70-е годы командовал мой отец – второй, кацко-отделочной имени Свердлова. Прошел мимо старых фабричных корпусов, теперь там что-то вроде конторы, прогулялся в районе 1-го Зачатьевского, Хилкова, наконец, Молочного переулка. Кругом стоит дорогая пустая недвижимость. Но Москвой тут точно больше не пахнет.

Само устройство города, само социальное соседство всегда прикрывало в Москве это ее скрытое зловонное дно, такое устройство заставляло богатых держаться скромней, а бедных – приличней. Воспитывало людей.

Сам город поглощал их взаимную агрессию в каком-то особом своем растворе.

Двор, район, переулок, подъезд – не ссорили, а мирили этих вечных антагонистов.

Их примиряла не идеология, не «политика партии и правительства», а сама Москва. «Порт пяти морей».

Даже в самые тяжелые 90-е, даже в голодные 80-е, даже в страшные 40-е этот миф сохранялся. Миф о том, что мы вместе, мы москвичи, мы все преодолеем, что мы «перетрем», перетерпим эти суровые времена. Что мы вместе играем с мальчишками во дворе в футбол, вместе отмечаем праздники, вместе выставляем на окно радиолу и танцуем летними вечерами.

...Но как бы Витя чувствовал себя в этой новой Москве?

Трудно сказать. Писать на дверях дацзыбао с распечатанными на принтере листовками об отчетно-перевыборных собраниях, ремонте шлагбаума и прочих высоких материях – мне кажется, Витя бы не стал. Его бы это не заинтересовало.

Вообще «соседская культура» – это такая сложная вещь.

В Америке, например, если сосед бьет жену, люди сразу звонят в полицию. И правильно делают.

У нас бегут выяснять в чем дело, порой пытаются усовестить. Или просто молчат в тряпочку, пока он ее не убьет.

Как надо, я и сам не знаю, не могу научить.

А вот Витя знал, как надо.

Когда мы переезжали, Витя радовался за нас. Он сказал мне: что, в большую квартиру переезжаете? Очень хорошо!

Я это знал – что хорошо – но расставаться с нашим «внутренним лесом», пусть и поредевшим, с нашей пятиэтажкой, наконец, с Витей, мне было немного тяжело.

Но мы переехали, конечно.

Люди, которые въехали в результате купли-продажи в нашу квартиру на Кедрова, вдруг оказались отчасти коллегами, и пару раз я встречал их на книжных ярмарках.

За квартиру они почему-то меня благодарили, она им очень нравилась.

– А как Витя? – спросил однажды я. Кажется, это было в Красноярске.

– Ой, вы знаете, а Витя умер.

– Жаль, – сказал я.

– Да, очень жаль, – подтвердила молодая женщина, которая была долгое время, видимо, Витиным новым соседом. – Очень, очень жаль.

Я повернулся и пошел прочь.

## Вместе с Балу

Мы переехали на новую квартиру, и как-то вдруг быстро выяснилось, что гулять с собакой в буквальном смысле нигде. То есть вообще. Всюду институты российской академии наук, асфальт, люди, ноги, Никулинский районный суд, адвокаты, работники коммунального хозяйства, ни пописаешь, ни покакаешь.

...Когда Балу появился, а это было на предыдущей квартире, я совершенно не задумывался об этой проблеме. Мы бодро выбегали в широченный двор, легко взлетали на кучье клумбы, уставленные для красоты на таких каменных круглых подставках (сейчас узнал, они называются сложным словом «габионы»), смело бродили по всякой траве. Балу легко доносил свой груз до железной калитки, никогда не отправляя надобностей на *своей* территории, потом мы спокойно шли себе на собачью площадку, или в дальний путь – к префектуре «Кунцево», вокруг которой располагался небольшой живописный парк. Или в липовую аллею, зажатую между двумя автострадами, ну то есть мест было полно – и я даже не думал о том, что тут может быть какая-то проблема. Иногда нас гоняли, оттуда и оттуда, иногда нами любовались, говорили, какая красивая собака, это был золотистый ретривер, немного больше, чем положено, продолговатый и вытянутый, но, в общем и целом, совершенно классический, словом, люди реагировали по-разному. Но я-то знал, что путь наш тверд, прям и неизбежен. И лишь одно меня расстраивало – увидев любую собаку, молодой тогда Балу начинал проявлять дикую сексуальную озабоченность. Он упрямо, преодолевая все мое сопротивление, буквально на брюхе, доползал до сучки и начинал свои безобразия, иногда получая визгливый и могучий отпор. Дамы хихикали над ним (а гуляли со своими собаками в основном дамы), а я стеснялся, оттаскивал, ругал и даже иногда пихал ему в бок. Это было как-то стыдно.

...Здесь же, на Профсоюзной, был совсем другой коленкор.

Пес постарел, видел плохо, пережив операцию на ухо, слышал тоже плохо, ходил уже не так резво, а главное – никак не мог разобраться, где можно, а где нельзя. *Вся* новая территория была для него чужая, поэтому мои крики и стоны он воспринимал с некоторым удивлением.

Для того, чтобы попасть не то чтобы на «чужую», но хотя бы на нейтральную полосу земли (возле самих подъездов у нас все было засажено цветами, как на ВДНХ), нам нужно было быстро-быстро спуститься по высоченной железной лестнице, которую и человек-то преодолевал с трудом. А Балу поначалу просто сваливался с нее кубарем, ударяясь всеми ребрами, так что даже смотреть на него было больно.

Там, внизу, была узкая асфальтовая дорожка, по которой бесконечно ходили разные люди, в основном адвокаты, приставы, прокуроры, свидетели, истцы и потерпевшие – они орали в мобильный телефон про номера статей УК («сто двенадцатая часть вторая! Да, вторая!») и про следственные действия («а тогда выписывай постановление о временном аресте имущества!»), какать и писать под ноги этим людям тоже было довольно нехорошо, да и как-то страшно.

Балу забирался в сложно устроенный куст, на крошечной полоске между этой «дорогой скорби» и глухой бетонной стеной Института Дальнего Востока, запутываясь в колючих ветках и запутывая свой поводок, и я с трудом выволакивал его оттуда.

Впрочем, через месяц пес привык, а я стал водить его куда-нибудь подальше, постепенно шаг за шагом изучая наш новый район.

Как-то раз мы с ним шли по тропинке, протоптанной в траве, мимо заброшенных гаражей, вдруг Балу напрягся, слегка зарычал и встал как вкопанный.

Я начал озираться.

Местные дагестанцы, которые держали тут самопальный шиномонтаж, перекинули свой провод на фонарный столб, он безыскусно и откровенно шел прямо по веткам деревьев над нашей головой (и как потом обнаружилось, во время дождей слегка искрил), но вряд ли Балу могло это

заинтересовать... Огромная кошачья семья, давно получившая гражданство тут в подвале пятиэтажки, вышла на улицу погреться и подставляла все свои животы солнцу, но мой пес всегда решительно обходил кошек стороной (хотя, впрочем, бывали и исключения).

Вороны, прыгающие по траве в поисках объедков и иногда летавшие мимо нас со злобной целью клюнуть Балу в макушку, тоже куда-то подевались. Подул странный сильный ветер и сразу стих.

– Старик, ты что? – спросил я его.

Балу стоял на месте и немного дрожал.

Наконец я огляделся получше и все понял.

Человек лежал на земле, между грудой мусора и кучей веток – лежал тихо, и, повернувшись на бок, не подавал никаких признаков жизни.

Одет он был в обычную старую рубашку и брюки. На ногах имелись штиблеты. Присмотревшись к нему и даже подойдя чуть ближе, я окончательно убедился, что незнакомец просто спит. И что нам с Балу не нужно его будить.

Не приходя в сознание, гражданин отогнал от лица муху и перевернулся на другой бок.

– Ну че, пойдём, что ли? – осторожно спросил я. – Или как?

Балу продолжал стоять и упираться, глядя куда-то вбок.

Что-то и мне мешало уйти из этого места. Справа перед нами тянулась серая кирпичная пятиэтажка – все подъезды были с другой стороны дома, где двор и показательная детская площадка, а с этой, не парадной стороны – было что-то вроде пустыря с гаражами, с вытоптанной среди травы тропинкой, ничейное место, ничейное настолько, что жильцы могли сюда выбросить что-то из открытого окна или форточки: пустую пачку сигарет, рванный целлофановый пакет или недоеденный кусок арбуза, а то и пустую бутылку; под водосточной трубой стояли старые эмалированные железные миски, с какой-то жижей, состоявшей, видимо, из хлеба и дождевой воды – старушки кормили здесь подвальных кошек; висела на стволе грубо сколоченная кормушка для птиц, используемая зимой, в траве всегда в большом количестве валялись пустые банки из-под пива или кока-колы, опорожненные чекушки и прочие следы ночных пиров и торжеств (например, пустые блестящие пакеты из-под семечек и чипсов); мы с Балу на все это постоянно натывались, и я силком тащил его за поводок от этой гадости...

И вдруг, в это тихое мгновение, я вспомнил, что такие вот клочки пустой, дикой городской земли – именно они особенно привлекали меня в детстве. Я тогда останавливался и внимательно анализировал воздух этих мест. Где трава растет сама по себе, и по-настоящему пахнет землей.

Только здесь и мог спокойно заснуть этот богатырь земли русской, этот таинственный незнакомец, который сладко прикорнул на задах гаражей, буквально возле кошачьих выводов и чьих-то торопящихся ног.

Здесь, как маленький принц, он обрел свою планету.

Нет, я не испытывал к нему никакой брезгливости, больше того, я его хорошо понимал. Среди сентябрьской листвы, на холодной уже московской земле, в этом укромном месте, *ему было хорошо*.

Эта была та самая внутренняя Москва, которую я всегда старался постичь, ну, не умом, а как-то иначе. Это была волшебная для меня, хоть порой и грязноватая пустота...

Этого нет в настоящей природе – там горизонт указывает направление, и нужно идти с самого начала и до самого конца. Город же весь состоит из этих потайных карманов, как бы вшитых у него за подкладкой.

Между тем человек этот, лежавший между двух гаражей, долго не выходил у меня из головы. Кто он и что он, выгнали ли его из своей квартиры или сам он гордо покинул ее, под проклятия чад и домочадцев, долго ли он так проживет, ночуя на земле? Обо всем этом я успевал подумать, когда мы опять и опять шли с Балу через то же самое место.

А буквально в двух шагах от нашего дома, во дворе физико-технического института российской академии наук, жили, или как бы это лучше сказать, *обитали* самые настоящие городские бродяги, или бомжи, точнее мне сказать было трудно. Про себя я их называл «банда четырех». Главным из них был огромного роста мужчина, который командовал остальными. Все они, вчетвером, повинаясь его воле, целеустремленно порой ходили по району, но чаще никуда не ходили, а просто сидели – в этом самом служебном дворе и жгли костерок.

Костерок им кто-то, явно облеченный властью, разрешал разводить в любое время дня и ночи возле служебной же помойки. Проходя вместе с Балу мимо ворот института, я иногда даже заглядывал внутрь, привлеченный пьяной разноголосицей и каким-то съестным запахом. Что уж они там жарили на костре, не знаю, может быть, обеды, найденные на помойке, может быть, черствый хлеб, а может быть, и еще что-то... Голубей?

По крайней мере, на Балу они поглядывали то с явной неприязнью, а порой и как-то плотоядно, и я инстинктивно вел его ближе к себе.

Надо сказать, что Балу, будучи собакой с врожденными благородными чертами – преданностью, нежностью, искренним весельем и любовью к людям, его окружавшим – в то же время не был в прямом смысле этого слова собачьим интеллигентом. То есть он был, конечно, интеллигентом природным, но как бы это сказать, не вышколенным, не обученным (не «образованщиной», как сказал бы писатель Солженицын, мир его праху), то есть мог вполне сорваться и куда-то поскакать, и я по привычке водил его на длинном поводке, отпуская при этом метров примерно на пять.

Так вот, эту самую «банду четырех» Балу недолюбливал.

Вероятно, он чувствовал исходящий от них запах – суровой и опасной дворовой жизни, помойки и спиртосодержащих веществ, ну и, может быть, запах всего того, что доводилось им жарить на костре во дворе института.

Кстати, о спиртосодержащих.

...Однажды зимой я встретил «банду четырех» в аптеке возле Профсоюзной. Они вошли в храм здоровья, как всегда, плотной шеренгой, буквально все вместе, чуть ли не держась за руки, и встали возле двери, тревожно поглядывая в сторону продавца. Наконец, «главный» (я хотел придумать ему какое-то имя, но ничего, кроме Коляна, в голову не приходило) решительно сделал шаг вперед и громко попросил настойку боярышника – четыре флакона.

Я заметил, что Колян был одет в чрезвычайно модную ярко-рыжую дубленку с цветной вышивкой (рукава, правда, были ему сильно коротки) и какие-то странные розовые бархатные штаны, а на ногах у него имелись довольно крепкие, хоть и поношенные замшевые ботинки.

«Какой же богатый город Москва! – восхищенно подумал я тогда. – Какие вещи люди выбирают!»

В походке, движениях, да и вообще в общей стати Коляна, а он, конечно, тоже меня запомнил, и не то чтобы кланялся при встрече, но как-то приметно шурился – было странное сочетание огромной внутренней силы и какого-то уже очевидного полураспада.

Он немного косо ставил ноги при ходьбе, нервно растопыривал руки, когда говорил со своими товарищами из «банды четырех», ну и так далее. Было видно, что Колян в своей прошлой жизни пережил какой-то «удар», и теперь преодолевает его последствия.

Их блаженные посиделки в институте у костерка продолжались несколько лет, но потом «банда четырех» стала искать работу, вероятно, и на них сказался общий экономический кризис – например, они устроились на шиномонтаж ухаживать за газоном и кустами, а дагестанцы беззлобно на них покрикивали.

Потом все они вдруг разом исчезли.

Я гадал: возможно, «банда четырех» просто переместилась в какой-то соседний двор? А может, их куда-то увезли, так сказать, «устроили»? Но куда?

Гулять с Балу было затруднительно, главным образом из-за научных институтов. Они тут были везде.

Из нашего окна, например, виднелось двухэтажное здание архива Академии наук, похожее на склад с боеприпасами (окна в архиве по ГОСТу должны быть узкими, как бойницы в крепости, а сам он представлял собой два уродливых серых бетонных куба, как бы вставленных один в другой). Из другого окна – узкое как кишка и покрытое тошнотворной зеленой плиткой здание Института Дальнего Востока (архитектору он виделся, наверное, океанским кораблем, но общую унылость это не компенсировало), ну, а чуть дальше виднелся институт океанологии имени П.П. Ширшова. Тоже вполне себе монстр, но с претензией на шедевр.

...Ну и упомянутый уже ФТИАН, чуть слева от океанологов. Все это вместе соединилось в глубокое каменное ущелье, миновать которое было никак невозможно. Ущелье почему-то никто не чистил от снега и льда. Если «зады» пятиэтажек казались мне дикими, но прекрасными, то «зады» институтов были другими: унылыми и неприятными.

Правда, никаких ученых в этом самом ФТИАНе, видимо, давно уже не было, на верхних этажах даже вроде кто-то жил, судя по дешевым занавескам и разномастным светильникам, зажившимся в темное время суток, ну, а первые этажи занимали разные «коммерческие структуры», как их называют в России, то есть фирмочки и оптовые магазинчики, самый крупный из них торговал кондиционерами и обогревателями, и во время жуткого московского холода или жуткой жары, а и то и другое периодически случалось, к железным дверям на «задах» ФТИАНа сразу начинали подъезжать грузовики и газели. А что там было на средних этажах – я даже не знаю. Смотреть на физико-технический институт было больно – если другие институты являлись замкнутыми, закрытыми, так сказать объектами, «вещью в себе и для себя», то этот монстр очевидно разлагался, от него отваливались куски фурнитуры и прежней гордой отделки, на крыше ржавела не используемая никогда конструкция из световых панелей – лишь трепыхавшиеся в летнее время занавески, которые стремились прочь из окон, придавали институту хоть какой-то человеческий вид.

Вообще, как я понял из архитектурного справочника-путеводителя «Москва. Архитектура советского модернизма», которую написал один мой знакомый, всю эту безумную красоту должен был замыкать еще один, четвертый академический институт – но ушлые ученые подсустились и вместо института построили себе жилой дом.

Теперь мы тут, собственно, и жили, в этом доме.

Я даже придумал свою историю про медленно разлагающийся ФТИАН – ведь когда в 1986 году Горбачев вернул из ссылки Андрея Дмитриевича Сахарова, ему сразу же предоставили «рабочее место», то есть дали маленький кабинет в каком-то институте. К бомбе его не допускали, и он самостоятельно пытался заниматься «теорией струн» и прочими малопонятными обывателю вещами, и вот, выходя с Балу по утрам на прогулку, я почему-то представлял себе Андрея Дмитриевича Сахарова, который скромно, на метро, никем не узнанный, ездил сюда на работу в 1987-88 году. Ездил, может быть, не так уж часто, раз в неделю, в руках нес портфельчик, а в портфельчике, помимо бумаг, лежали заботливо приготовленные Еленой Георгиевной бутерброды.

Я даже как-то сказал Асе:

– Знаешь, а возможно, тут был кабинет Сахарова.

– Не говори ерунду, – просто ответила она.

Впрочем, вполне возможно, что только нам с Балу эти институты казались такими некрасивыми. В том же самом справочнике «Москва. Архитектура советского модернизма» об институте океанологии имени Ширшова, например, было сказано: «...Величественная лестница, ведущая от тротуара к входу в институт, уже создает пафос, а верхняя часть здания и вовсе похожа на замок. Исторические ассоциации выражены еще очень сдержанно – самой формой каре и вертикальной разделкой фасадов с намеком на зубчатое завершение, но в них уже чувствуется приближение постмодернизма».

На другой стороне Нахимовского проспекта находился знаменитый ИНИОН – научная библиотека, в которой хранились книги и рефераты, недоступные простым смертным, здесь ког-



да-то занимался сам Егор Гайдар, читая на английском языке книги зарубежных экономистов, тут же рядом с библиотекой стоял ЦЭМИ – экономико-математический институт, в котором в разные годы работали такие гиганты мысли, как Петраков, Канторович и Каценеленбоген, воспитавшие потом Ясина, Шохина, Нечаева, в общем, весь цвет отечественной либеральной экономики. Потом тут заседал клуб «Перестройка», раскачавший общественную жизнь в 80-е годы. Сам Егор Гайдар тоже, кстати, работал недалеко отсюда.

В общем, тут, от Ленинского проспекта до Профсоюзной, располагались десятки, если не сотни, храмов науки, и еще с 1930-х годов угнездились такие люди, как Капица или Ландау, в каждом втором портфеле у прохожего вместе с бутылкой кефира или водки могла лежать кандидатская или докторская диссертация.

Конечно, когда-то я хотел жить именно здесь, среди ученых, и встречать среди прохожих на улице – людей с печатью глубокого интеллекта на лице, но, во-первых, все они быстро куда-то подевались, а во-вторых, с некоторых пор я иначе стал смотреть на эти вещи. Меня начал мучить вопрос: почему десятки тысяч этих умных голов не произвели на свет какой-то важной идеи, которая могла бы нас всех спасти, короче говоря, мне хотелось просто понять, что же именно они сделали, в чем был результат их работы?

И почему-то мне стало казаться, что половина их изобретений пошла на пользу только войне.

Конечно, сгоревший во время страшного пожара ИНИОН с его десятками тысяч сгоревших книг и рефератов мне было жалко. Долгое время тут, на Профсоюзной, вместо него зияла огромная черная яма, которая ощутимо воняла пожаром, и это, конечно, был очень яркий образ – сгоревшей без следа великой книжной культуры, которую я застал только по касательной. Впрочем, нам с Балу было туда и не надо, ИНИОН, как и ЦЭМИ находился на другой стороне шумного Нахимовского проспекта, в этом месте разделенного куцым бульварчиком. Но не гулять же с собакой там, среди машин. Словом, вскоре нам с Балу надоели и все эти институты, и живописные бродяги, и мы начали ходить на пруд.

Пруд наш был небольшой, вытянутый в длину, и сразу мне понравился – в воде отражалось небо, по берегам цвели кувшинки, пруд постепенно зарастал зеленой тиной, и каждое лето люди в больших резиновых сапогах его чистили баграми, но самое главное, в нем жили утки.

Это меня настолько поразило, что я сказал, что больше ни в какое другое место ходить не хочу.

– Ну ходи, ходи... – примирительно сказала Ася. – Певец городской природы.

Уток было поначалу только две, с рыжей грудкой, очень красивые, так называемые «огари», а потом у них появилось целых одиннадцать утят.

Папа-огарь взлетал и садился на фонарный столб, и сверху гордо взирал на свой выводок, а мама-огарь учила их плавать на радость всем окружающим обывателям – «один, два, три», считали мамы с маленькими детьми, и мы с Балу тоже их считали. Когда утят стало не одиннадцать, а девять, все мы загоревали, но вскоре один пропавший утенок объявился, оказывается, его выкармливали где-то там, в траве, в кустах, и он радостно присоединился к остальной банде.

Насчет же одиннадцатого – грешили на кошек, собак, на алкоголиков и бедных азиатских дворников, но точной и окончательной версии ни у кого не было.

Когда мы впервые увидели утят, это было так радостно, так волнующе, что мы с Балу прибежали к Асе, и я сказал, что она немедленно должна на это посмотреть. Она посмотрела, но через пару недель, когда утята уже выросли и перестали быть такими крошечными.

Вообще я любил пруд не только из-за уток, которых потом стало довольно много (наверное, другие утки увидели наших и решили развить ареал обитания), и не только из-за исходящей от воды радости и покоя, из-за низких кустов и деревьев, но главным образом – из-за того, что пруд ощутимо притягивал к себе людей. Причем самых разных.

Утром здесь опохмелялись алкоголики, в жаркие дни загорали молодые и не очень женщины, привольно расположившись на солнечном берегу в своих изящных купальниках, их белые тела

издалека сверкали на солнце, здесь занимались спортом, ходьбой и бегом, сторонники здорового образа жизни (как старые, со шведскими палками и без них, так и молодые, нарезавшие круги вокруг пруда упертые джоггеры), здесь жарили шашлыки и выпивали сторонники нездорового образа жизни, здесь дышали и сидели на лавочках ветхие пенсионерки и выгуливали младенцев молодые мамы – и счастливые, и несчастные, одуревшие от недосыпа и послеродовой депрессии.

Здесь выгуливали собак. А иногда и кошек.

Ну то есть, короче говоря, это было место самой разной жизни – иногда некрасивой, а иногда красивой; впрочем, как я понял, не красота отделяет живое от неживого, а что-то совсем другое.

Определить это «другое» я своими словами не мог, хотя много над этим думал, но оно было очень хорошо и ясно *выставлено* (не представлено, а именно выставлено) на всех берегах нашего продолговатого пруда, и я любил в него, в это «другое», которое отделяет живое от неживого – пристально вглядываться и вслушиваться.

По утрам иногда здесь бывали немолодые уже пары, которые... ну как бы это сказать, впервые провели вместе ночь, мужики были довольны собой, женщины стыдливо прятали лица, а иногда – наоборот, радостно пили пиво, опохмеляясь с раннего утра, один такой бодрый мужик буквально напал на нас с Балу, с громким криком: «Эй, вы куда воду из пруда дели?», и радостно захохотал. Пруд и правда немного обмелел, но вступать в пререкания с ним я не стал, мы просто обошли стороной этого дурака и пошли себе дальше. Женщину было жаль.

Иногда здесь были и сладкие молодые парочки, но больше я обращал внимание на тех, кто постарше, тут были драматические диалоги такой силы, что заставляли меня буквально превращаться в слух: «Ты опять, опять меня унизил перед всеми, но учти, я тебе больше этого не прощу...», а мужик возражал ей, не понимая, чем он таким ее унизил, и оба они прихлебывали из бутылки что-то зеленоватое, типа крепкого и сладкого одновременно. Добрых друзей и знакомых у нас тут не появилось, все-таки мы были на пруду немного пришлыми. А может быть, дело было в нашей с Балу врожденной нелюдимости и склонности к одиночеству.

Была тут, правда, одна одутловатая старушка с синеватым лицом, которая ходила с трудом, опираясь на палку – ее я вижу до сих пор, она как-то еще справляется, и была бегунья, очень сутулая, сухая, видимо, профессиональный спортсмен, зимой и летом с большой скоростью она нарезала круги вокруг пруда, в одинаковом плотном темпе стайера, она иногда лишь просила нас уступить дорогу.

Вот их я запомнил.

Словом, экосистема пруда развивалась в разные стороны, сюда вдруг запустили каких-то мелких рыб, на берегах засели незадачливые рыбаки, утки активно продолжали плодиться и размножаться... Один псих запустил сюда на время даже водяных черепах. Но пес уже с большим трудом преодолевал наши «две дороги» (так говорила Ася – вы ходите через две дороги), и ходить даже хотя бы сорок минут в день ему было трудновато.

Он иногда падал на обратном пути, и мне приходилось переворачивать его на бок, гладить по пузу, уговаривать, чтобы он встал и продолжил идти домой.

...Не помню точно, в каком это было году – когда мы с Асей пошли на митинг против реновации.

Мы уже не жили в пятиэтажке, но все равно пошли. Не только затем, чтобы поддержать «гражданский протест» (а мы с Асей ходили буквально на все митинги, пропуская их очень редко) – нет, была еще и другая причина.

Я просто очень любил эти пятиэтажки.

Черемушки – слово нарицательное в русском языке. Дмитрий Дмитриевич Шостакович написал целую оперетту, или симфоническую поэму с таким названием в шестидесятые годы. Черемушки есть почти в каждом областном и районном городе страны, если не на карте, то в

обиходном языке, и помимо самих домов и кварталов, это еще и народная память об эпохальном переселении из коммуналок и жутких бараков в отдельные, хоть и крошечные, квартиры.

Так вот, изначальные, самые-самые первые Черемушки, так сказать пра-Черемушки – они тут у нас.

Входя в этот двор с пятиэтажками, по дороге к пруду, я всегда останавливался. Да, я понимал, что из этих домов, где во время дождей на верхних этажах протекает потолок, где четырехметровые кухни и крошечные коридоры, где все давно прогнило и начало отваливаться, где из подвалов поднимается сырость, и жить, наверное, уже невозможно – люди хотят уехать. Но вот этот конкретный двор мне было до слез жалко, и я ничего не мог с этим поделать.

Дерева здесь росли порой чуть выше крыш, ну или вровень с верхними этажами. На ветках висели кормушки для птиц, иногда деревянные, иногда просто пластиковые бутылки для воды с вырезанной в них дыркой, вдоль всех первых этажей были высажены палисадники с садовыми цветами и кустами. Рядом с одним подъездом был построен целый сказочный городок: огромный деревянный гриб и фигура садового гнома соседствовала со сказочным домиком для детей, а также крошечной песочницей. И в палисаднике, украшенном петуниями, гортензиями, садовыми ромашками в человеческий рост, лилейниками и бог его знает чем еще, если я все правильно помню, все эти детские радости смотрелись очень уютно. Конечно, все это было старое, немного уже разошедшее под дождями и снегом.

Но во всем, как говорится, была видна рука человека – а не жилуправления.

Это был замкнутый в себе маленький мир, особенно он хорош бывал осенью, когда листья начинали желтеть и сильно шуметь.

Прохладный свежий ветер пробегал по нашим с Балу лицам, низкое солнце играло на деревьях, кричали птицы, и было хорошо. И во всем была какая-то сырая терпкая свежесть.

Я с ужасом представлял себе, как сюда придут экскаваторы и бульдозеры – и разнесут весь этот экологический рай (это должно случиться уже довольно скоро, но сейчас, когда я пишу эти строки, старые дворы еще живы).

...Там, на митинге, меня поразило не только количество людей – сорок тысяч, по нашим московским меркам, это было совсем немало, поразило то, каким образом они тут собрались. Одиночек почти не было, люди выходили районами, кварталами и домами, подъездами, улицами, они шли с плакатами типа: «Дегунино против реновации!» или просто: «Джонгарка», «Проспект генерала Карбышева, дом 12», многие названия мне были даже незнакомы, я там ни разу не был, вся окраинная, простодушная Москва собралась в тот день здесь, на проспекте Сахарова, все радовались друг другу как дети, и были настроены решительно, но это ничему не помогло.

Как я узнал потом (в пятиэтажках возле пруда у меня жила старая знакомая), жители домов проголосовали за реновацию почти в полном составе. Моя же знакомая, переводчица и литератор, была в ужасе – она много денег вложила в ремонт своей старой квартиры, все благоустроила, она обожала район и привыкла к нему, она тоже любила эти деревья и этот пруд – с которым теперь неизвестно что будет.

Но у ее соседей не было таких завиральных идей.

А главное – у них не было ресурсов, чтобы улучшать и обустраивать свою жизнь самим. Своим детям (а стариков тут было немало) они хотели оставить в наследство квартиры именно в новых домах. А не в старых.

Однажды мы с Балу пришли на наш пруд 9 мая.

Это было удивительное зрелище – под каждым деревом сидела праздничная компания, здесь в этот день собрались буквально сотни людей. Жарили шашлыки, расстилали покрывала, выставляли закуски, иногда пели «военные песни», вился дымок, играла попса из радиоприемников, звучала многоголосая и разноязыкая речь.

Вдруг я понял, что не могу точно сказать, сколько именно неизвестных мне наречий я одновременно здесь слышу.

Наверное, не меньше десятка.

Женщины в праздничных восточных платьях, запахи еды, детские голоса, смешавшаяся в единый хор разная музыка – словом, мне был явлен сам смысл этого чужого, присвоенного государством уже давно праздника. Все эти дворники и разнорабочие из разных мест бывшего СССР, все эти жители пятиэтажек, которых скоро должны были выселить, – отмечали этот день потому, что им можно было выйти всем вместе на пруд и сидеть на земле, предаваясь радостям жизни. Они знали, что никто в этот день им слова худого не скажет, никто не погонит, никто не обзовет и не оштрафует. Это был праздник страны, в которую они приехали жить. Как 4 июля когда-то для американцев, «понаехавших» с всего света.

Пораженный этим открытием, я прислушался и к русским, поющим что-то патриотическое.

Их было значительно меньше, чем той, другой, разноязыкой толпы.

И я, честно говоря, порадовался, что все тут равны и всем довольны.

Летом 2006 года мы с Асей сняли дачу в районе Кубинки по Минскому шоссе, в садовом товариществе, где обитали бывшие международники, то есть журналисты и иные деятели, выезжавшие в длительные зарубежные командировки.

Мы прежде дачу на целое лето никогда не снимали, это было дорого.

Только потом я понял, что Ася решила на этот поступок ради Балу, собаке исполнился год, и ему нужно было гулять, таким образом дачу она сняла именно для него, а не для меня, например, хотя официальная версия была такая, что «тебе нужно закончить роман». Собственно, я его и закончил этим летом, где-то в июле, и даже хотел поместить, как положено советскому писателю, в конце текста скромные географические подробности – типа «Переделкино-Кубинка», но не стал.

Показалось претенциозно.

Дом же оказался в довольно запущенном состоянии – хозяйка давно и тяжело болела, не приезжала. На мебели, не говоря уж о плите, посуде, люстрах, был целый слой исторической липкой пыли, которая остается после зимы, если дом не проветривать. Что уж говорить о матрасах и подушках. Словом, Асе пришлось приезжать специально, чтобы все это привести в порядок.

Я же ничего этого не заметил. Полтора часа пути прошли в увлекательнейшей беседе с хозяином, который рассказал мне массу любопытных вещей – о своей службе в Лондоне в качестве руководителя корпункта.

Формально АПН вчера – это то, что «Раша тудей» сегодня, но тогда, в той службе работали исключительно интеллигентные люди, с нехилым знанием языков и страны, порой циничные, но талантливые и довольно яркие, а сегодня работают какие-то больные на всю голову пропагандисты.

В чем тут загвоздка – рассказывать не интересно, и вообще не для этой книжки.

Так вот, по дороге в Кубинку (а я уже знал, что Михаил Иванович много лет проработал в Лондоне руководителем корпункта АПН) я решил задать много лет мучавший меня вопрос: подписывали или нет соглашения о сотрудничестве, то есть о том, чтобы после каждой поездки писать отчеты «туда, вверх», такие, например, люди, как Виталий Коротич или Евгений Евтушенко, или даже Андрей Вознесенский, то есть те, кто довольно часто ездил в «капстраны» представлять нашу «великую культуру»?

– Ну... – сказал Михаил Иванович. – Соглашения подписывали вообще все, без этого не пускали, другой вопрос: писали они отчеты или нет после поездок, но это не значит, что все они служили в конторе.

– Вы не служили? – быстро спросил я, заметно краснея.

– Я не служил... – хладнокровно ответил он. – Хотя другие служили.

– Хорошо... – задал я свой следующий каверзный вопрос. – А как англичане, например, узнавали, кто из вас агент, а кто просто журналист?

– А чего там было узнавать? – ответил вопросом на вопрос Михаил Иванович. – Если у нас каждый день была своя планерка, а у них – каждый день была своя, в определенное время, как сейчас помню, в шесть вечера? И они там все собирались во главе с резидентом?

Я заржал.

Словом, разговаривать с Михаилом Ивановичем было интересно. Да и дом мне понравился.

На кровати в спальне лежало огромное покрывало «Юнион Джек» – то есть британский флаг в натуральную практически величину, как на военном корабле.

На втором этаже стоял роскошный камин из красного кирпича, мы пробовали пару раз топить в дождливые дни, но ничего не получалось, дом наполнялся едким дымом и запахом, и все. Рядом с камином возвышалась настоящая барная стойка, а за стойкой, разумеется, был бар, но с пустыми уже бутылками.

Да что там говорить – когда я открывал дверцы каких-то стеллажей в стене, там сразу видел целую батарею выпитого виски.

Даже ручки вентиляей в батареях отопления (да, собственно, и сами батареи) были с надписью «Made in England».

Весь дом был памятником эпохи холодной войны, со всеми своими говорящими деталями. В кабинете хозяина хранилась подшивка старых английских газет – для растопки, тут был, насколько я помню, и «Дейли Телеграф» и «Таймс». Конечно, даже со словарем я в этих газетах не смог бы прочесть ни одной заметки, но меня волновал сам шрифт, макет, сами эти страницы. Я взял тогда одну пачку и перевез, с разрешения хозяев, к себе на балкон.

Они там долго лежали и становились черными от городской пыли.

У Михаила Ивановича же они просто благородно пожелтели от времени.

Дом стоял в высокой, давно не кошеной траве. Увидев эту высокую траву, Балу, конечно, совершенно взбесился. Он бегал вокруг дома, нарезая огромные счастливые круги.

Вода в дом поступала из бака, который располагался на крыше. Нужно было повернуть не без труда вентиль, и бак начинал наполняться, воды хватало, если я правильно помню, на несколько дней. Но если уровень воды поднимался до нужной отметки, надо было срочно выворачивать вентиль обратно.

– Стой здесь, следи за водой! – говорила по утрам Ася. – Увидишь струю, сразу беги туда и там все выключай. Ты меня понял?

Утром на участке бывало жарко, яркое солнце отражалось в стеклах веранды, я стоял и ждал, когда пойдет маленькая струйка сверху.

Но иногда в этот момент я задумывался...

Задуматься я мог совершенно на разные темы – например, о своем романе «Психолог», в котором одна девочка влюбляется в Путина и дурит всем голову с этой маниакальной идеей. «Должна ли она так уж сильно в него влюбляться, или это все же больше игра?» – думал я, ожидая струйки воды. Или я думал о рассказах Михаила Ивановича – они мне напомнили фильм «Шпион, пришедший с холода». Например, Михаил Иванович рассказывал, как англичане пришли и выкопали лежавший в земле кабель и смотали его, когда АПН переезжало с одной штаб-квартиры на другую – этот кабель предназначался, конечно, для прослушки. «Они сделали это не скрытно, не ночью, не потом, а сразу, на наших глазах».

Из этих дурацких и бессистемных, в общем-то, деталей в моей голове рождалась целая картинка – сырые улицы, люди в болоньевых плащах, брежневская эпоха с ее тайнами и военными секретами. То, чего мне в жизни (может быть, и слава богу), не досталось.

Тут Ася бежала с криком:

– Ну я же тебя просила! – и я, уже почувствовав первые брызги на лице, мчался выворачивать вентиль. На другую сторону дома. А на потолке уже появлялись первые сырые пятна.

Словом, жизнь тут требовала ответственности – Асю, например, волновало то, что Балу вырывал на участке огромные ямы, в свой собственный рост глубиной, чтобы в них спрятаться от жары, ей казалось, что он наносит хозяйству какой-то урон, меж тем урона не было – все кусты и цветы давно уже заросли сорняками, огуречные и помидорные грядки тоже, на участке осталась одна густая трава, которую я пытался косить косой. Но получалось как-то не очень.

Балу легко делал подкоп и под забором, чтобы вырваться на оперативный простор.

Там, на воле он нашел небольшой пожарный пруд и плюхался туда во время жары, весь покрываясь страшной зеленоватой тиной.

Ему это запрещали, а от меня требовали навести порядок – и я находил все новые и новые доски в лесу на свалке, загораживая дыры в заборе. Балу их снова подкапывал, и вновь и вновь погружался в пожарный пруд с тиной.

Тогда его требовалось мыть под струей.

Я достал из рассыхшегося сарая шланг, мы его поливали, а он скакал вокруг. Ася хохотала.

Мне кажется, гуляя с Балу, я часто думал о том, чем мы с ним отличаемся и в чем похожи. Конечно, может показаться, что жизнь его была скудна впечатлениями и переживаниями, не то что моя. На самом деле это не так, даже наоборот – Балу видел и чувствовал этот мир настолько острее и глубже, что мне даже страшновато было об этом думать. В его чистых и искренних глазах (вот тут Дидуrow, конечно, попал в точку) я видел гораздо больше света, яркого света, чем во многих других – человеческих. Мы сидели порой рядом, и я гладил его тихонько, чтобы почувствовать, как он думает, что там у него внутри.

Но это оставалось загадкой.

Как и любой пес (ну как бы пес по своей душе), я тоже часто бродил по Москве, и брожу до сих пор, но бесцельно – пытаюсь понять, и не понимая окружающую меня жизнь.

В то дачное время в Кубинке Ася часто повторяла, что возможно, во время этих коротких отлучек за забор Балу все-таки стал или станет мужчиной, но я не очень верил в эту перспективу.

Тем не менее, как будто услышав ее слова, Балу в лесу однажды исчез надолго. Я сидел дома, тут пришла Ася со слезами на глазах, и сказала, что я должен идти искать пса. Хотя это, может быть, уже бесполезно.

Мы разошлись с ней в разные стороны и долго кричали. Вместе с нами ходила и кричала наша подруга Аня Ч., которая приехала нас навестить. Наверное, мы кричали целый час.

Это был очень хороший, чистый сосновый лес, совсем не такой, как у нас сейчас в Тимашево, где не пройти через бурелом и где лежат поваленные стволы огромных сосен, и где уже много лет никто ничего не убирает и не чистит, нет, там в Кубинке были настоящие сквозные тропинки, просеки и лесные дали.

Но Балу все не было и не было.

Я хорошо помню эти страшные минуты...

Я ходил и кричал, уже почти охрипшим голосом. Тогда я понял, как это страшно – когда пропадает, исчезает твое родное существо, даже ненадолго, потом я пережил это много раз.

Родные мои существа всегда, слава богу, возвращались, вернулся в конце концов и Балу, веселый и довольный, но за этот час мы много пережили. Как будто время остановилось.

Придя в себя, мы пили вино на веранде и долго рассуждали на тему о том, не сбылось ли предсказание и не совершилась ли мужская инициация?

Ася ходила с ним потом по лесу очень далеко, выходила на огромное поле, которое называла «полигоном» (местные ей объясняли, что тут происходят стрельбы, и надо бы поосторожней), я отговаривал ее туда ходить – но она все ходила, потому что там, по краю поля, были целые заросли лесной малины, и можно было спокойно загорать – она раздевалась, ложилась на простынку, а Балу бегал рядом.

В небе же летали истребители с военного аэродрома по соседству – со страшным грохотом они носились над обнаженной Асей, делая в небе фигуры и пируэты и оставляя за собой волнистый след.

...Тогда казалось, что это всего лишь мирные тренировки. И даже с эротическим подтекстом.

В сентябре, как и было условлено, мы уехали с дачи не без сожаления.

Позднее, когда Балу стал ложиться на землю во время наших прогулок на пруд, я начал поневоле думать: что же было лучшим моментом в его жизни?

Бывало у него с нами разное: Белоруссия, где он принес в зубах из леса настоящие оленины рога, сброшенные диким животным, и мы привезли их в Москву, отполировали и повесили на даче, были еще эти сумасшедшие игры в футбол на новой квартире, были наши бесконечные прогулки в садах и парках, были его бешеные прыжки через нашу супружескую постель, когда он поднимал меня утром к завтраку, были дни, когда он не ел и не пил всю неделю, если Ася уезжала, и были эти зеленые лужайки, зеленые лужайки...

Зеленые лужайки.

И все же перед самой смертью, я почти в этом уверен, он вспоминал тот момент, когда заблудился в лесу и некоторое время не знал, где мы. Вспоминал со страхом, но и с восторгом.

Приехал ветеринар, такой умный парень, и объяснил, что, в общем-то, уже все...

Почечная недостаточность, почти полная слепота, онкология, и еще пара неизлечимых диагнозов.

Но главное – просто старость.

Вся процедура стоила шесть тысяч. Плюс кремация.

Последние месяцы его жизни были сплошным мучением – перед утренней прогулкой Балу надевали собачьи подгузники, но они порой ему не помогали.

Но не только произвольное мочеиспускание было проблемой – было просто видно, что псу очень тяжело жить.

По краям белков глаз появились толстые красные прожилки, Балу тяжело поднимал голову в ответ на очередные наши вздохи, и как будто просил нас его отпустить.

Не помогали таблетки, не помогали уколы, не помогало уже ничего.

...Ветеринар расстелил на полу коврик. Балу лежал, расставив лапы перед мордой, как лежал он всегда, лицом к людям, терпеливо и верно, ожидая от нас дружбы, и понимания. Никаких признаков страха не было вообще.

Ветеринар объяснил, что именно сейчас произойдет, каково действие лекарства, на какие органы оно подействует, в какой момент отключится сознание и душа покинет его тело.

Я понял, что надо прощаться. Губы у меня задрожали, когда я заговорил (Ася молчала, она говорить не могла, просто сидела, глядя в пол).

– Прощай, Балу. Ты был нам хорошим другом.

И заплакал. Ася посмотрела на меня и отвернулась.

Балу, на самом деле, был ее пес. Я вообще не представлял, как она это переживет.

Я же – я всегда просто с ним гулял.

Потом мы повезли урну с прахом на дачу, завернув в покрывало, ехали молча. Есть такие магазины, для садовых надобностей, где продают всякую всячину, в том числе большие камни. Ася сказала, что ей нужен рыжий камень, я перенес его в машину.

Потом рыли яму.

Была идея поместить на камень какую-то фотографию, надпись, но мы не стали. Все мы и так знаем, кто там лежит.